

ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ

ЕВГЕНИЙ
ЧИРИКОВ
ИСТОРИЧЕСКИЙ
РОМАН

Седьмая Книга



Евгений Николаевич Чириков

Зверь из бездны

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6504699

Зверь из бездны: Седьмая книга;
ISBN 978-5-906-13747-0

Аннотация

«Зверь из бездны» – необыкновенно чувственный роман одного из самых замечательных писателей русского Серебряного века Евгения Чирикова, проза которого, пережив годы полного забвения в России (по причине политической эмиграции автора) возвращается к русскому читателю уже в наши дни.

Роман является эпической панорамой массового озверения, метафорой пришествия апокалиптического Зверя, проводниками которого оказываются сами по себе неплохие люди по обе стороны линии фронта гражданской войны: «Одни обманывают, другие обманываются, и все вместе занимаются убийствами, разбоями и разрушением...» Рассказав историю двух братьев, которых роковым образом преследует, объединяя и разделяя, как окоп, общая «спальня», Чириков достаточно органично соединил обе трагедийные линии в одной эпопее, в которой «сумасшедшими делаются... люди и события».

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	17
Глава третья	30
Глава четвертая	44
Глава пятая	53
Глава шестая	62
Глава седьмая	79
Глава восьмая	90
Глава девятая	105
Глава десятая	115
Конец ознакомительного фрагмента.	124

Евгений Николаевич Чириков Зверь из бездны

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Глава первая

Уже потемнели небеса и затеплились лампы в горних высотах, рождая мириады сверкающих по снегу голубых и зеленоватых искорок, когда поручик Владимир Паромов пришел в сознание и, приподнявшись на локте, широко раскрытыми глазами стал оглядываться, стараясь припомнить и понять, где он и что случилось... Острая боль в ноге при попытке изменить положение напомнила ему: он ранен и брошен... Ну, вот и конец!.. Странно, что в первый момент не родилось от этого сознания никакого ужаса, страха или страдания. Напротив, облегченный вздох вырвался из его груди, словно он донес, наконец, непосильную тяжесть до предназначенного места и теперь освободился навсегда. Навсегда!

Смотреть каждый день в лицо смерти и ждать ее, – о, это гораздо страшнее самой смерти. А все эти последние бои, длившиеся подряд несколько дней, иногда – не обрываясь даже ночью, были сплошным, ежечасным, ежеминутным ожиданием: «Вот сейчас! Вот сейчас и я». Уже было это неизбежным и предрешенным, и только неведомо было, сколько дано сроку. И хотелось, чтобы случилось это немедленно. Может быть, именно муки этого ожидания и заставляли Владимира обнажать изумлявшую всех храбрость, проявлять геройскую неустрашимость и лезть прямо на огонь. И в последней схватке, когда рота Владимира дрогнула и цепь

порвалась и начала расплываться по снежной степи, он не побежал, а, припав на колено, продолжал стрелять в лавой мчащуюся кавалерию... «Вот она смерть!» — успел еще подумать Владимир, видя пред собой лошадиную голову со сверкающими белками глаз. И потом мир исчез. И вот теперь снова, точно по какому-то сверхъестественному волшебству, словно в детской сказочке от живой воды, глаза раскрылись и в далеких тихих небесах встретились с глазами Божьими. Значит, — он жив и все еще впереди ожидание? Но почему же они его не добились? Очевидно, сочли мертвым. В плен уже не брали: некогда возиться с человеком. Да и не сдавались, предпочитая умереть без пыток и глумлений, от собственной пули.

Мертвенно тихо в степи. Точно снежное море, без конца, без края. Над вырисовывающимся вдали холмом-могильником, с головы которого ветер смел снежный покров, всплыла луна на ущербе и облила снежную степь мертвенно-зеленоватым серебрящимся светом. Точно огромный гроб в громадном храме под куполом, прикрытый серебряным парчовым покровом... Такое страшное жуткое молчание! Точно весь мир погиб, вымер, и остались только одно это бесконечное белое молчание и вот еще он, поручик Владимир Паромов... Владимир прислушивается к белому молчанию: кажется, что где-то на небе грустно и мелодично звучит чуть-чуть тронутая струна гитары. Может быть, это поет где-нибудь телеграфная проволока... И вдруг в белом молчании,

прорезаемом грустно поющей струной, прозвучало стоном слабое такое и короткое:

– О, Господи!

Владимир весь содрогнулся и, пренебрегши болью в ноге, сел и стал озираться вокруг. Это было так неожиданно и странно. Может быть, – это сам он, Владимир, сказал: «О, Господи!»? Так бывает иногда с пробудившимися от сна: сами скажут и от собственного голоса пробудятся.

Владимир лежал в логу, складкой протянувшимся по степи. Со стороны изголовья – волнистая снежная складка закрывала ближайшую перспективу. И вот оттуда – это теперь было уже ясно – снова донесся тихий такой, покорный плач человеческий. Так плачут больные в бреду. Не то по-детски, не то по-старчески. Потом снова все стихло, и снова зазвенела струна. Владимир прилег и притаился. Ведь теперь человек – самое страшное на земле животное. Пошарил вокруг по снегу: вот она, винтовка! Липкая от собственной крови рука пристаёт к холодной стали. Щелкнул затвором и вставил новую «пятерку» патронов.

Так резко в тишине щелкнул затвор. Такой привычный звук, рождающий звериное удовлетворение и пробуждающий спортивный инстинкт человекоубийства. О, ведь теперь винтовка самый верный и самый дорогой друг! Если бы Владимир мог видеть, то он увидел бы, как щёлк его затвора откликнулся эхом в душе другого человека, лежавшего в девяти шагах, за снежной складкой. Он тоже вздрогнул и стал

шарить вокруг. Вот она! Тихо, прижимаясь к земле, человек подполз к блеснувшей в снегу сталью шашке и протянул руку, но силы его оставили, и уткнувшись лицом в снег, он снова тихо и по-старчески заплакал. На этот раз Владимиру этот плач показался тихим и ехидным смехом притаившегося врага. Очевидно, он не один: иначе не было бы смеха. Ну что ж? Он даром не отдаст жизни. Все равно умирать. «Пойдем туда вместе!..» И вот он уже во власти «Зверя из бездны»: одна ненависть кипит в крови, и не чувствуется боли в смятой кованными лошадиными копытами ноге; руки крепко жмут винтовку, и глаза остры, как у волка. Стоит нагнувшись и осторожно выпрямляется, хищно приподнимая обнаженную голову со сверкающими ненавистью глазами. Стучит сердце, тяжело дышать от волнения и от ожидания, успеет ли он первым выпустить пулю; губы сухи и сжались в странную улыбку... Перестала звенеть струна в белом молчании, оборвалась от блеснувшей огненной вспышки и сухого резкого выстрела... Враг приподнялся на колени... Другой лежит рядом. Он убит. А этот..., он целится... «Стук! Стук!..» Ну, вот... Оба лежат... О, какая торжествующая радость жмет душу!..

– Корниловцы не сдаются, так вашу...

Так странно и дико прозвучала, вместо молитвы над умирающим человеком, площадная ругань озверевшего Владимира в тихой белой степи, под лунным блеском. Можно было подумать, что это внезапно помешавшийся. Припадая на

раздавленную ногу, с винтовкой наготове, он ковыляет к поверженным врагам, и долговязая тень его прыгает на снегу тощим великаном.

– Ах, мать вашу...

И снова человек и его тень остановились, прицелились из винтовок и оба выстрелили. На всякий случай. Оно – вернее: «Шевелится, сволочь!»

И снова ковыляют человек и его тень. Опять тихо-тихо, опять звенит струна грустно и мелодично, точно стон тоскующей ангельской души.

Где же другой? Уткнувшись головой вперед и смешно растопыря скрюченные ноги, лежит один. Точно кланяется земным поклоном перед образом. Где же другой?.. «Не спрячешься, сволочь!» – летит металлический злобный голос с ветерком по белой равнине, и кажется, что высоко всплывшая над могильником луна удивленно смотрит и слушает, что делается на земле. Другого нет. Может быть, зарылся в снег? Подошел к коленопреклоненному и толкнул его прикладом. Тот склонился на бок и потом упал на спину, около занесенного снегом кустика. Лучше не смотреть: жутко. Один глаз, куда попала пуля, полон крови. Огромный до краев налитый кровью сосуд. А другой, такой ласковый, синий, широко раскрыт и с удивлением смотрит прямо в душу. Словно о чем-то спрашивает. Странное утомление овладело вдруг всеми членами Владимира. Но ни на мгновение не ро-

дилось вопроса в его голове: зачем он убил этого человека с добрыми синими глазами? Было только неприятно смотреть на раскрытый и смотрящий на него с вопросом и любопытством глаз. Владимир преклонился и попробовал закрыть глаз. Нет, не хочет. Опять раскрылся и смотрит. Не жалко, но жутко и неприятно. Шашка. На снегу пятна крови и мочи. Владимир вспомнил: это – тот самый кавалерист, в которого он стрелял в последний раз при атаке. Это его лошадь сверкнула белками глаз и смяла его... «Ссадил! Квит, братец. Э, а что у тебя за фляжка? Может быть, водка? А нука... Так и есть! Запасливый. Водка».

– Ну, вечная тебе память!

Большими жадными глотками Владимир отпил из фляжки, и приятный огонь побежал по всем закоулочкам его тела. Какое счастье – эта водка. Не отдал бы ее теперь за самую жизнь. Да чего она, его жизнь, теперь стоит?.. Ведь все равно: теперь никуда не уйдешь и впереди одно – смерть от собственной пули... И водка поможет этому... Неприятная все-таки операция...

– Эх, Лада, прощай!..

Быстро опьянел. Не было сил стоять или отойти. А нога совсем не болит. Задеревенела, перестала чувствовать. И душа задеревенела. Лежит убитый им человек, а он сел рядом, на полу его шинели, и пьет по глотку его водку. Странно и смешно. Ей-Богу, смешно! Тихо смеется... Ну а что ж? Попутчики на тот свет.

– Погоди немного, отдохнешь и ты, – глухим баском произнес вдруг Владимир всплывший в голове кусочек романса, и ему стало жалко себя, жаль Лады, жаль оборванного счастья.

– Ты одна, голубка Лада...

Это из «Игоря»... В плену у половцев... Нет, никогда!.. Корниловцы в плен не сдаются...

– Смело мы в бой пойдем за Русь святую...

– Ну, что ты смотришь на меня своим синим глазом? Не завидуй, брат! Нечему. Ей-Богу, я поменялся бы с тобой местами. Для тебя все кончилось уже, а вот я...

Заплакал и припал к мертвому головой. И долго плакал и шептал что-то, разговаривал с женой – Ладой, и с братом Борисом...

Тихая белая степь сверкала огоньками. Изумленно смотрела с высоты луна. Звенела струна грустно, как бесконечный стон тоскующего в небесах ангела. Притих опьяневший и обезумевший человек. Мягкосердечный жалостливый сон пришел и приласкал несчастного человека. Дал ему пожить и отдохнуть его душе в легких грезах воскресших воспоминаний и призраков.

– Ах, Лада, Лада!..

Чудеса творит всемогущий сон... Вот он превратил озверевшего от крови человека, обреченного уже смерти поручика Владимира Паромова, снова в пятнадцатилетнего гимназиста, а его жену – в стройную, как молодая березка, гим-

назистку Ладочку... Две чистых прозрачных души, благоухающие ароматом раннего весеннего утра жизни. От этих душ пахнет ландышем и сиренью. Тоска, страдания и радости этих душ, как утренняя роса на только что раскрывшихся цветах.

Призраками первой чистой любви, как благодатным дождем в засуху – землю, напоил Господь темную бездну души человеческой через сон прекрасный и радостный...

Снилось, что он возвращается лесом с Ладой: ходили за ландышами, любимыми цветами девушки, и увлеклись, не заметив, как подкрался вечер. Погасли краски заката. Сгустились зеленые сумерки, и в лесу стало страшно... Лада взяла Володю под руку: ее пугали превращавшиеся в уродов силуэты кустов и пней, обросших молодняком. Она вздрагивала и прижималась к руке Володи, и от этого Володя пьянел, как от вина, и переставал чувствовать под ногами землю. Точно вырастали за спиной крылья и поднимали его вместе с тайно любимой прекрасной девушкой... Заблудились. Леший обошел. Выглянула чрез лес луна, и сделалось точно в сказке – и красиво, и страшно. Запел близко-близко соловей, – остановились и долго слушали, боясь вспугнуть маленькую волшебную птичку. Володя вздохнул и прошептал:

– Ах, Лада, Лада! Если бы вы знали...

– Знаю...

Они встретились глазами, и глаза все сказали друг другу, сказали больше, чем могли бы произнести уста. Господи!

Какое счастье! Он целует склонившуюся золотую голову девушки, обвеянную тонким ароматом ландышей...

– Лада, Лада... Открой глаза!..

Глаза раскрылись, губы раскрылись, сверкнув жемчугом зубов, и улыбка расцвела сказочным цветком счастья на ее лице. А на ресницах блеснули слезы, под лунным светом заигравшиеся алмазными блесками...

Медленно и молча шли. Останавливались послушать соловья, и снова волна огромного сбывшегося счастья захлестывала их, сплетая губами и руками... Когда вернулись в дом, там все спали. Они долго сидели на балконе и молча слушали соловьев, в разных странах ночи славословивших счастье любви. Не могли уйти друг от друга. Володя склонился к Ладe. Ветерок играл золотистым шелком ее волос и щекотал ему лицо, а ландыши струили опьяняющий аромат. Душа не вмещала радости... Он упал перед девушкой на колени и стал целовать ей ноги...

– Я хотел бы умереть, Лада...

– Вместе... со мной?

Она положила его голову на свои колени и, нежно касаясь волос, ласково гладила. А он, спрятав лицо, плакал слезами счастья, похожего на аромат ландышей.

– Я тебя давно, давно любила... только никто на свете не знал этого...

– Ах, Лада! Я не верил, что можно плакать от счастья... Мне хочется молиться и плакать... Господи, какое счастье

жить! Нельзя этого рассказать...

— Кто-то идет... уходи... Возьми с собой эти ландыши и положи себе на подушку... И увидишь меня во сне... Будто я пришла, наклонилась, перекрестила и поцеловала тебя... Вот так!..

* * *

И от этого поцелуя поручик Владимир Паромов проснулся. словно он не верил, что все это ему чудилось только во сне: начал искать кого-то глазами и шептал:

— Ты ушла!.. Ты ушла... Ты приходила ко мне проститься... Лада, я не хочу умирать, я хочу жить!..

Солнечный день. Снежный степной простор блестит и слепит глаза. Тихо и торжественно, как в светлом храме. Медленно уплывают по голубым небесам, словно лебеди друг за другом, два белых растянувшихся облака. Вот сесть бы на них и полететь от смерти к жизни, от настоящего к прошлому, которое приснилось...

И от этого, что приснилось, захотелось жить, так захотелось жить, что убитый, смотревший в него одним потускневшим глазом, стал внушать ужас и отвращение... Жить! Жить! Жить! Но где путь к жизни? Куда идти, чтобы прорваться к «своим»? Где они, «свои»?.. Поручик вышел на бугор и стал всматриваться, вслушиваться и вспоминать. Пока был во власти сна, он, как иногда бывает с нами, занятыми

размышлением и переставшими слышать стук часового маятника, – не слышал того, что вдруг начал теперь слышать: где-то, очень далеко, шла перестрелка. Только привычное опытное ухо могло в едва намечавшихся, похожих на падение крупных капель дождя на бумагу звуках узнать стрельбу из винтовок и пулеметов. Однако трудно было определить точно линию направления, по которой шел бой. На юге, но то кажется правее, то левее, то в двух пунктах. Одно несомненно: от «своих» отрезан.

Позади и впереди враги. Что же, значит, – умирать?.. Вот он, попутчик на тот свет! Все ждет и смотрит одним глазом...

Поручик застыл в раздумье, и вдруг на лице его забежала странная улыбка. Тихо доплелся до мертвого, подсел и стал обшаривать его карманы и пазуху. Ну, вот они, документы! И деньги. Дрожащими неслушающимися пальцами перебирал бумажки, читал их нетерпеливо и серьезно. Словно просматривал деловую ноту. Две бумажки отобрал и, чтобы не улетели, положил под приклад винтовки. Сорвал с фуражки, заскорузлой от крови, «красную звезду» и приладил ее к своей папаше. Сбросил свою шинель с погонами и стал стаскивать с мертвого грязный бараний тулупчик. Изредка приостанавливался и озирался... Потом, успокоившись, снова принимался возиться около мертвого... Увидел брошенную на снегу фляжку и вспомнил, что в ней есть еще водка. До-

пил и вдруг стал смеяться и разговаривать...

– Ограбил, брат... Не гневайся! Я тебя не знаю, ты меня тоже... И оба мы с тобой, вероятно, хорошие люди, а вот так уж вышло... Если бы не я тебя, так ты бы меня... Такой закон, брат, теперь...

Разговаривал и натягивал на себя бараний тулупчик. Сунул в карман деньги и документы, перекрестился на убегающие облака и, нахлобуча ухарски на затылок папаху с красной звездой, сказал на ходу, обернувшись к мертвому:

– Прощай, поручик Паромов!

И прихрамывая на левую ногу, заковылял по снежной скатерти, истоптанной кованными ногами лошадей... Долго одинокая человеческая фигура маячила в снеговом море. Потом пропала за снежной волною, словно растворилась в ярком солнечном сиянии...

Глава вторая

Несколько дней шел кровавый пир «Зверя из бездны». Люди уничтожали друг друга, как ненавистных гадов, пьянели от крови, стонов, грохота орудий и свиста разящих пуль. Ничего не осталось в душах. Только одна кровожадная ненасытная ненависть. Человек сделался страшным, и Дьявол отдыхал, потому что ему нечего было делать на земле... Со всех сторон неприятельский фронт подползал к городу. Бои шли с одной стороны верстах в ста, а с другой пододвинулись так близко, что грохот орудий уже был слышен в городе, если ветер плыл с этой стороны. Ужас и безумие уже охватывали жителей, уже началось паническое бегство. А защитники еще не дрогнули и отчаянно отбивались, от неукротимой ненависти и отчаяния забывая о смерти, не замечая ее... Фронт изломался, как кривая горячечной температуры. Станции по несколько раз переходили из рук в руки в течение одного дня. Местами все перепуталось в хаос, и никто уже не знал, где свои, а где чужие... Случалось, что стояли на двух соседних станциях и переговаривались по телефону, обманывая друг друга. Белые говорили за красных, красные за белых, и так запутались, что перестали верить даже своим, и часто своих же громили орудийным огнем... И вот все вдруг стихло. Оборвалось. С ночи подул резкий ветер. Снежная степь закрутилась снежными вихрями, с тусклых

небес посыпалась острая колючая, как иголки, крупа, потом повалил снег – и все исчезло в белом крутящемся тумане. Точно небесам надоело наконец это самоистребление, и они решили прикрыть пропитанную слезами, кровью и ужасами преступлений землю глубоким чистым покровом снегов вместе со всеми живыми и мертвыми. Замело все пути и дороги. Остановились занесенные сугробами поезда. Потонули в снежных горах маленькие станции. Перестали грохотать орудия, замолкли винтовки и пулеметы. Перестали летать похожие на хищных птиц аэропланы... Все замерло и покорилося... Три дня и три ночи бушевал снежный буран. На четвертый день к ночи стихло, и новое утро встало тихое, яркое, морозное и радостное. Снежное заколдованное царство! Точно все заснуло в белом очаровании и хотело забыть о том, что было... Точно Господь хотел вычеркнуть из жизни всю кровь, слезы, преступления, и заставить людей зажить новой человеческой жизнью. После снежного потопа... И весь этот день прошел в благодатной тишине, и можно было подумать, что на земле воцарился снова мир, а в человеческих душах – благоволение... Солнышко обошло весь горизонт и, словно устыдившись за людей, за все ими содеянное, покраснело и конфузливо спряталось в снежном океане, а краска его ланит долго еще окрашивала сугробы, тучки в небесах, вершины далеких могильных курганов... Фиолетовая грусть стала окутывать снега и горизонты. Загустели небеса, и синие огоньки Божьих лампад зажглись снова в

горних высотах, сверкая радужными искрами в снежинках... Как одинокий голодный волк, то приостанавливаясь, прислушиваясь и озираясь, то снова ускоряя шаг, шел обсахаренный снегом человек по направлению нескольких крыш, чуть-чуть поднимавшихся над сугробами и напоминавших положенные в беспорядке обитые белой парчой гробовые крышки... Вот этот точно из снежной бури рожденный человек чего-то испугался, оглянулся и круто свернул в сторону, утопая по пояс в мягких сугробах, и исчез, словно растворился в снегах. Если бы кто-нибудь увидел со стороны появление и исчезновение этого человека, он не поверил бы своим глазам, счел бы это галлюцинацией или уверовал в привидения. Точно мертвец в саване блуждал в поисках своей могилы...

Когда молчаливая синяя ночь упала над степью, в сугробах снова выросла фигура человека и, выбравшись на затвердевшую корку снега, заковыляла к хуторам, пробуждая тишину заколдованного царства, звонко похрустывавшим под ее ногами снегом. Палка, на которую человек опирался, с визгом врезывалась в корку снега и скрипела, и хруст и скрип этот в ночном молчании долго разносился в заколдованном царстве, наполняя тишину тревожным и, казалось, ненужным и раздражающим беспокойством... Хутор точно вымер. Только в одном окошечке, разрисованном морозом и наполовину занесенном снегом, мерцал красноватый огонек, делая окошко похожим на воспаленный глаз. Блуждающий

призрак подошел к огоньку, посмотрел в замеченное стекло и постоял в раздумье. Потом он нерешительно постучал палкой и стал ждать. Вместо отклика огонек вдруг погас, и стекло окна побелело. Не хотят пускать. Замерзни, околей – все равно теперь людям... Человек злобно забарабанил палкой под окошко и опять послушал. Нет, не хотят слышать.

– Ну, тогда я заставлю вас услышать.

Человек перелез через забор и очутился на дворе. Вошел на крылечко и стал колотить в дверь ручкой револьвера.

– Отворите! Эй, кто есть?

Грохнул в дверь сапогом и громко обругался похабными словами. Ну вот, – идут.

– Что надо? – спросил злой старушечий голос за дверью.

– Отвори, бабушка.

– Да кто ты такой?

– Свой.

– Какой-такой «свой»? Покою от вас нет... Проходи с Богом! Не пущу.

– Добром не отворишь, худо будет.

Старуха покряхтела, пошептала молитву и отперла.

– Зажги огонь!

Старуха долго шарила и ворчала. Изба осветилась скучным коптящимся языком маленькой лампы. Человек огляделся: никого, кроме старухи, не видать.

– Мужики дома?

– Никого нет, батюшка, никого... Одних угнали, другие

разбежались... Никак одна я на всем хуторе...

– Не врешь? Смотри, старая, говори правду, как попу на духу, а то худо будет.

– А что мне будет? Двум смертям, батюшка, не бывать, а одной не миновать. Мы уж и бояться-то перестали... И Бога-то теперь не бояться уж...

– Хлеб есть?

– Откуда? Ты тесто-то ставил?

– Жрать хочу, как собака... Лучше покорми сама. Не дашь, искать буду, а найду – ответишь мне за обман.

– Эх, вы!.. Как собаки и есть: которая лютее да зубастее, та и вырвет...

Старуха пошла за перегородку и, выйдя, бросила на стол краюху черствого хлеба:

– Весь тут. Не пахано, не сеяно, а подай! Сама с голоду подыхай, а вам подай... Ешь, Христа ради!

Человек обломил от краюхи половину и, торопливо давась, стал утолять мучивший его голод.

– А это тебе оставил, старуха... Пополам... По-братски, старуха!

– Добрые вы.

– Какая станция, бабушка, у вас?

Старуха назвала станцию.

– Верно. Она самая... – подумал вслух человек и опять спросил: – Много на станции наших?

– Я уж не знаю, какие ваши, а какие наши... Не знаю я

ничего. Не спрашивай!

– А ты за кого: за красных или за белых?

– Ничего не знаю. Не наше дело. Бог с вами...

Старуха боится захожего человека, человек боится старухи.

Тут на печи заплакал ребенок, и старуха пошла к нему и стала утешать, баюкая и приговаривая слезливо и жалобно:

– Ненаглядный ты мой! Сироточка моя разнесчастная!..

Что мы делать-то с тобой будем?..

Старуха причитала, припевала, и ребеночек притих.

– Вот что, старуха, – начал человек шепотом. – Я белый...

– Мне все одно, батюшка. Перед Богом – все люди-человеки.

– Тебе-то все равно, да вот мне-то надо точно знать, в чьих руках ваша станция?

– А кто вас знает. То одни придут, то другие, а нам все вы хороши...

– Скажи правду, кто теперь на станции: белые или красные?

– И знать не хочу... и не спрашивай... И разговаривать я с вами боюсь, – жалобно затянула, точно заплакала старуха и стала отмахиваться костлявой рукой.

– Так вот что: иди и узнай!

– Как же я могу идти? Чай, видишь, у меня на руках ребеночек хранится? Больной внучонок лежит, а я побегу от него... Да ты что, в уме ли?

– С ребенком останусь я, а ты иди и точно узнай, кто на станции.

Человек сказал это строго и, вынув из кармана револьвер, положил его на стол около лампы:

– Вот видишь? Эту штуку? Если красных с собой приведешь, я сперва ребенка убью, а потом... себя.

Старуха опустила руки и долго безмолвствовала. Потом медленно перекрестилась на образ и прошептала:

– Вразуми, Господи, заблудших...

– Ну, ладно. Потом помолишься, а сейчас некогда.

– Ты, видно, и помолишься за меня?

– Мне все равно пропадать... Иди!

– Побойся Бога!

– Не разговаривай! Слышишь?

Старуха потопталась, жалобно и тихо пожаловалась Богу и стала натягивать овчинный полушубок.

– Ну, поторапливайся! Помни только, что если совершь или приведешь красных, застрелю ребенка...

Отирая слезы и шамкая беззубым ртом, старуха вышла из избы. Человек осмотрел револьвер, пощелкал затвором, приготовил на «последний случай». Притушил огонек лампы и, присев на лавку, стал смотреть в окно. Потом вспомнил и побежал в сени, – запер дверь за ушедшей старухой. Вернулся, взял револьвер и снова стал смотреть в окно. Теплым дыханием своим он просветлил на стекле кружочек и в него смотрел не отрываясь... Жалобно так и беспомощно

стонал, точно жаловался Богу, маленький брошенный человечек. Большой человек смотрел в светлинку и думал о маленьком, и стоны его начали торкаться в сердце и душу, давно не знавшие уже жалости. Вспомнилась страшная картина, которую довелось увидеть однажды в маленьком городке, только что покинутом красными: убили всю семью, не пощадили даже двухлетнего ребенка. Верно, схватили за ножки и ударили головкой о каменную стену дома: маленький, похожий на большую нарядную куклу трупик валялся на тротуаре с разбитой головой. Точно расколотый грецкий орех. А на стенке – запекшаяся кровь и сгустки мозга. Тоже оказался «буржуем»... А вон там, на печке, – «пролетарий»...

– Эх, ты... пролетарий!

И большой человек подошел к печке и, вскочив на приступок ногою, приподнялся и стал разговаривать с хныкающим ребенком.

– Прости нас, окаянных...

Он вспомнил, что у них с Ладой в Крыму, у дедушки, есть умненькая, маленькая девочка, похожая, говорят, личиком на мать. Отец, дедушка, так и называл внучку: «наша буржуйка». Теперь уж, наверное, бегают и без удержу болтают. Спрашивает про папу и маму...

И сердце человека облилось тоской и радостью. А ребенок на печке притих и только строил смешные гримасы: не то хотел заплакать, не то засмеяться.

– Эх ты, старичок...

Большой человек прикрыл ему ножки тряпками и отошел снова к окну, взял опять в руку револьвер и стал смотреть в светлинку. А думал все о Ладе и о маленькой девочке, своей первой дочке, которую он называл Евой, и забыл, зачем надо сидеть с револьвером в руке и смотреть в светлинку.

Это любовь нашла щелку в задеревеневшую душу и через образ чистой детской души прокралась в сердце, забывшее и о радости, и о жалости, и о сострадании к ближним... «Ближний». Где он? Может быть, ближний по ненависти и убийствам?.. Нарисовался в памяти красивый дикий уголок на южном берегу Черного моря, маленький белый домик с колоннами, похожий на греческий храм, и всплыла идиллическая картинка на балконе, обвитом виноградом и китайской розой. В центре полуголенькая девочка, а вокруг вся семья. Маленькая королева со свитой. Какое счастливое лицо у матери! Сколько безграничного материнского счастья и гордости в глазах Лады! Как она прекрасна!..

Но жалобно застонал и заплакал маленький старичок на печке, и идиллия улетела, как испуганная птичка. Ведь все это могло бы быть, но ничего не было, и ничего нет. Нет ничего! Только вот этот револьвер в руке, предназначенный для убийства... быть может, самого себя... Вздогнула душа. Нет, нет!.. Он хочет жить, хотя бы для того, чтобы прокрасться в Крым; лесами и горами, по диким тропкам, спуститься к морю, ночью проползти, как червяк, к белому домику с колоннами и еще раз посмотреть и поцеловать, про-

ститься со всеми. Лады там нет. Бог знает, где она теперь. Но там ее отец, мать, там маленькая, похожая на Ладу Евочка... Метнулся к светлинке: услышал скрип снега за окном. Она, старуха! Почему так скоро? Стучит. Побежал с револьвером в сени и не сразу отпер. Посмотрел в щелку: не двое ли? Вошли в избу. Старуха околачивает у порога ноги от налипшего снега и таинственно говорит:

– Белые.

Явилась, было, радость, но сейчас же и улетела:

– А что ты так скоро вернулась?

Посмотрел на часы:

– Сорок минут туда и обратно...

– Да я до станции не дошла: солдатика встретила. Ну, вот он и сказал, что белые... И, видно, что и он, солдатик, белый... Вот тебе крест! А не веришь, сам поди – попытайся. И сама я так думаю, что – белые. Поверь уж!..

Не верит человек человеку. Хитрит что-то старая колдунья.

– Вот что, старуха: я тебе не верю. Только смотри: и на старуху бывает проруха.

Мучительно это бессилие узнать правду. Смотрит на старуху, и лицо ее кажется ему хитрым и предательским. Если бы не маленький заложник на печке, наверное, привела бы с собою красных и выдала, проклятая. Идешь умирать за освобождение народа, а они... Сколько было уже таких случаев... Злобно посмотрел в сторону возившейся около печ-

ки старухи:

– За вас, сволочей, умираешь, а вы... Старуха!

– Что тебе еще? Что ты пристал ко мне? Коли ты вправду белый, так и уходи на станцию. Белые, говорю, там...

– Идти? Нет, постой... Не на дурака напала...

– Я ни на кого не нападаю, это вот вы – не пахали и не сеяли, а вам подавай!

– Вот как?!

Злоба нарастала и выгнала из души затеплившуюся, было, от воспоминаний жалость и сострадание. Холодный рас-судок искал выхода. Нужно узнать правду во что бы то ни стало, какими угодно правдами и неправдами. Вопрос идет о жизни или смерти. А умирать, как баран на бойне, он не желает...

– Старуха! Заверни потеплей ребенка и сними с печи. Я возьму его на руки, а ты пойдешь за нами.

– Это куда же?

– На станцию. Если соврала, я убью ребенка прежде, чем меня убьют красные. Поняла?

Старуха расправила спину и посмотрела на страшного в злобе человека, как на испугавшую ее диковинку. Попяти-лась, приостановилась и сказала:

– На тебе крест-то есть, голубчик?

– Ну, это не твое дело. Не разговаривай!.. Собирайся!

– Убивай нас. Все одно. Бог рассудит. Тащить больного младенца на мороз не дам.

И тут старуха завывала, как ветер осенью в трубе. Была и причитала, жалуясь Богу и упрекая его, зачем он не взял вовремя к себе «ангельскую душеньку» и зачем судил ей самой дожить до таких страшных дней... Большой ребеночек точно понял свою бабушку: застонал и тоненько так запищал, словно муха в паутине. И такой безысходной тоской повис в избе этот слабенький жалобный дуэт старухи и ребеночка, что страшный безжалостный человек вдруг растерялся. Помялся на месте с опущенной головой и сказал усталым смиренным голосом, совсем другим голосом:

– Я, ведь, так только... попугать. Прости уж. Наше дело такое... суровое дело, старуха...

– Коли Бог простит, так... Бога проси, а не меня... Прощать-то мне не дано.

Но тут вдруг загудел громовый раскат, и мигнул огонек в лампе. И старуха, и страшный человек замолчали. Еще удар.

– Опять началось, – ленивым и усталым, ворчливым тоном произнесла старуха и потрясла головой.

Еще удар.

– Ты шел бы, покуда не поздно. Уйдут ваши, а ты и останешься...

Человек стоял у окна и вслушивался. Потом отошел к столу и стал рассматривать карту, бумаги. Что-то прятал, торопился, руки его дрожали мелкой дрожью.

– Забарабанили!..

Ночной бой. Как швейная машина стучит где-то пулемет,

и вспышками хлопают выстрелы из винтовок. Точно пригоршней кто-то бросает горох в лист железа.

— Что ты говоришь?

— Задуть надо лампу-то, — жалобно повторяет старуха с печки. — На огонь-то стреляют... Задуй скорее!

Потухла лампа. Ночь тускло посмотрела звездами в белое окошко. Завыла где-то собака. Так зловеще отдавался вой ее в душе человека, а старуха с печки ныла:

— Найдут тебя, и мне несдобровать... скажут, белых прячу...

— Я тебе соврал: я не белый, а красный...

Старуха вздохнула только. Тяжело так. Не ответила. За молчала. Опять ударил и заворчал гром. Опять заработала швейная машина. Провизжал снег под кованными ногами нескольких лошадей, промчавшихся галопом мимо... Человек в бараньем тулупчике тихо вышел из избы, остановился на крылечке и прислушался. Мертвая тишина, и в ней тяжелые вздохи паровоза. В тихую морозную ночь далеко слышно. Значит, подходил броневик на разведку. Но чей? Белый или красный?

Вышел за ворота и долго стоял и слушал. Ночь спокойно плыла над землей. Так кротки были потемневшие небеса, и так ласково мигали с горней высоты звезды... Так много просторов под этим звездным куполом для человека. Но... если бы можно было быть не белым и не красным, а просто человеком!

Глава третья

Как просто и легко казалось раньше быть «человеком». И как трудно им сделаться теперь, с обгаренными кровью руками!.. Печать Каина на душе... Все вспоминается «синий глаз» убитого им человека. Смотрит прямо в душу и не хочет закрыться. Разве мало он убил уже людей? Разве он не радовался, когда угадывал, что именно от его пули падал вдали человек?.. О, какое злорадство шевелилось тогда в его душе! Хвастался. Окружающие начинали больше уважать: «Вот это стрельба!»... Но все это было издали, или в испугленном кровавом тумане во время атак, когда перестаешь совершенно понимать и что-нибудь чувствовать, кроме рождающегося бешеного желания убить самому, чтобы не быть убитым другим... В первый раз пришлось посмотреть в глаза самим тобою убитому человеку. Спокойно, без злобы и страха посмотреть. Жалко не было, раскаяния не рождалось, но подсознательный разум, инстинкт, врожденный в живую душу человека, запечатлел это Каиново дело неведомыми письменами, и теперь в короткую звездную ночь, показывает и напоминает: «А помнишь синий глаз, который не захотел пред тобой закрыться и спрашивал: за что меня, уже бессильного и безвредного, ты убил? Вот теперь ты идешь в моем бараньем тулупчике и нацепил еще мою звезду».

Поручик Паромов вспомнил вдруг, что он забыл снять

красную звезду со своей папахой и испугался. Остановился, снял папаху и стал отцеплять красную звезду. Спрятал ее в карман и пугливо оглянулся: визжит снег под лошадиными копытами. Покачивающиеся силуэты всадников быстро вырастают. Гонят маленькое людское стадо впереди.

Как молния сверкнул вопрос: белые это гонят красных, или красные – белых? Зазвенело в висках от напряженного бессознательно заработавшего инстинкта самосохранения. Сперва испуг и порыв побежать, потом сразу полное спокойствие... Никуда не убежишь! Пошел намеренно медленной и беспечной походкой, припадая на левую ногу, в которой вдруг снова появилась боль... Резко завизжал снег, и стало слышно, как играет селезенка у нагоняющей лошади... Не оглядываясь, посторонился и ждал, когда промелькнет лошадь... И не видя можно было понять по звону копыт и скрипу снега, что скачет один...

– Что за человек? – резко раздалось над ухом, и лошадиная морда с заиндевевшими мягкими губами дохнула в плечо поручика Паромова. Опять зазвенело в висках. Точно смерть задала загадку: угадаешь, отпустит, не угадаешь – умирай. Не разгадаешь в полутьме ночи, друг или враг. Чуть, было, не сказал «красный», но кто-то, овладев его губами, произнес:

– Свой.

– А ты дурака-то не ломай! «Свой»!..

– Кубанцы, что ли?

– Я тебя, сволочь, спрашиваю, что ты за человек, так отвечай, а не замазывай мне рот!

Свистнула в воздухе нагайка и обожгла шею и лопатку.

Этот ожог был так нестерпимо оскорбителен, что поручик Паромов выхватил револьвер и закричал:

– Я офицер, так твою!.. Только посмей еще коснуться!.. Я поручик Корниловского полка, а ты, мать твою...

Кубанец оттянул коня, и в темноте сверкнул сталью обнаженный палаш.

– Надо сперва узнать, с кем говоришь, а потом...

Верно, в ругани и в голосе поручика кубанец действительно почувствовал нечто, начальственное: он спрятал в ножны палаш и, молчаливо прищпорив заплясавшего коня, лихо поскакал назад, где скоро слышалось тревожное переговариванье... Заговорили крикливо, с руганью. Про него. Он продолжал путь спокойно, даже с гордостью, и радостное торжество рождало в нем бодрость и энергию: теперь ясно, что свои – красные убили бы корниловца-офицера без всякого смущения. Подскакали трое. Двое с карабинами наготове.

– Что, братцы, скажете? Кто у вас старшой?

– Так что для нас вы теперь, как всякий подозрительный проходящий. А потому мы обязаны арестовать и представить...

– Куда?

– На станцию, к есаулу.

– Да я сам туда иду.

– А оружие отобрать... Я мог бы убить и без всякого разговора. Раз вы выхватили оружие, я мог...

– И рубил бы! Много теперь таких шляется, – злобно подкричал другой, самый молодой, безбородый. – Кругом шпионы теперь...

– Откуда и зачем?

С каждой минутой кубанцы говорили грубее и злобнее. Переставали верить.

– Вон мы теперь гоним много разных. Отдай револьверт!

– Не имеешь права говорить мне «ты».

– А ты поговори еще! Давай револьверт. А то...

Лошадиная морда засверкала глазами перед лицом, щелкнул замок карабина.

Отдал револьвер, и все захохотали.

– Корниловец не отдал бы, братцы!

– Чего с ним толковать? Гони его в стадо.

– Я сам пойду... Не трогать!

– Ого! В бараньем зипунке, а грозный. А где погоны дедал? Мы, брат, на тебе не видим... Иди туда, в гурт! Ну, не разговаривать, так твою...

Стал, было, объяснять, почему он в тулупчике и без погон, но бросил: не верили и поднимали на смех. Очутился в толпе гонимых гуртом на станцию. Шли быстро, иногда легкой рысью. Казаки посвистывали и покрикивали:

– Ну, ну, ну!... Кто упадет, не подыметься...

– Тоже папаху надел... Ваше благородье называется...

И хохотали над папхой и над тем, что он припадает на ногу, и над тем, что молчит и не отвечает на насмешки.

Выгнали на железнодорожный путь. Грустно загудели телеграфные проволоки. Впереди мигнули огни: близко станция. У последней сторожевой будки, где стоял караул, остановились и прыгнули с коней.

– Стой, сволочь.

Тихо погупотили с караульными. Покурили. Арестованные стояли с понурыми головами, тоскливо и пугливо оглядывая друг друга.

– Кто у вас старшой? – спросил сердито поручик. – Доложите есаулу, что его желает видеть поручик Корниловского полка Паромов.

Никто не ответил. Были заняты какими-то таинственными разговорами. Из долетавших отдельных фраз и обычных технических выражений поручик Паромов понял, что у них происходит совещание и спор о том, как лучше сделать: расстрелять сейчас «без всякого доклада», разбудить есаула или оставить дело до утра. Верно, кроме поручика, поняли в чем дело и некоторые другие: молодой рыжий и веснушчатый парень с бабьим лицом, присев на сложенные шпалы, заплакал вдруг, фыркая носом.

– Не реви, сволочь, а то... пришибу вот прикладом.

Слезы вызвали только злобу и раздражение:

– Заткни ему глотку-то прикладом! Плачет еще...

– Я... товарищи... мобилизованный... Я против воли шел...

– Товарищи! Мы вам, сволочам, не товарищи... Распустил слюни-то. А еще красный. Утри сопли-то!.. Вот я тебе подотру...

Казак подошел и, развернувшись, ударил в лицо плакавшего парня.

Тот стукнулся головой о шпалы. Плакать перестал. Сидел и сморкался сгустками тянувшейся из носа крови...

– Не следовало бы, не разобравши дела, братцы, так... – заметил поручик.

Сколько раз он проходил мимо таких издевательств и глумлений над человеком, а тут вдруг вздумалось заступиться. Может быть, самочувствие арестованного, поравнявшее его со всеми другими, заставило его сделать это неосторожное замечание. Это замечание привело в ярость казаков, сразу все озверели:

– А ты что за заступник, так твою?... Не знаешь разве, как они нас истязают? Они нас жгут, живьем в землю зарывают, гвоздями погоны приколачивают, а ты их не тронь? Да ты сам-то...

– Вот с таким нечего разговаривать, а прямо к стенке.

– Отведи его вон за сортир да и выведи в расход эту жалостливую сволочь!

Спасла случайность: прибежал казак со станции с каким-то распоряжением от есаула. Сразу забыли про обидчи-

ка.

– В будку всех запереть покуда! – приказал старшой и пошел, а за ним еще несколько самых злых.

– Ну! В будку! Спокойной ночи, приятных снов... Проходите, товарищи красные, люди опасные, – сострил благодушно старый казак с широкой бородой, не принимавший участия в глумленьях.

Арестованные один за другим ныряли в дверку будки. Нырнул и поручик Паромов...

Душа его была в гневном трепете. Там творился психический хаос и разрушение. Острое до боли оскорбление... оскорбление всего, что для него оставалось еще святым и неприкосновенным. Поругана последняя драгоценность: гордость жертвенного подвига. Во имя спасения родины он бросил все дорогое и пошел за Корниловым, совершил весь тернистый путь Ледяного похода, несколько раз был ранен, от самого Корнилова получил Георгия... И вот теперь нагайка, издевательство с площадной руганью, тычки в спину и смерть у стенки от тех, за кого три года нес терновый венец. Он понимает, что все это только ошибка, но от этого не легче, а еще тяжелее...

Ошибка! О, будьте вы прокляты, патристические идиоты! Ошибка... Такая же ошибка, как если бы вы, идиоты, по ошибке напакостили в священную чашу, из которой верующие приобщаются вечной жизни. Да, конечно, ошибка, но эта ошибка непоправимая... Святой сосуд опоганен, осквер-

нен, и его остается только разбить, разбить вдребезги. О, если бы не отдал револьвера!.. Как же он позволил обезоружить себя? Как он на нагайку не ответил оскорбителю смертью или... не уничтожил себя?.. В будке было тесно и душно. Лежали на полу вповалку, сплетаясь ногами, попирая друг другу лица каблучищами, наваливаясь на спины соседей. Так возят свиней или овец и баранов по железным дорогам. Курили, плевали, харкали и сопели, испуская смрад человеческого слова. Не хотели или боялись говорить. А может быть, и не о чем было уже говорить больше. Не люди, а навоз, подлежащий вывозке. Многие хрипели, точно умирающие. Они были здесь самые счастливые: не думали и не чувствовали. О, если бы заснуть и забыть обо всем на свете, даже о Ладе и о маленькой Евочке!..

– Вы не спите, кажется? – тихо, шепотом сказал кто-то точно на ухо. Поручик вздрогнул и изменил положение. Темно. Только черные сверкающие глаза, точно стальные глаза, и усы.

– Вы меня не узнаете?..

Поручик недоверчиво приблизил глаза к лицу склонившегося над его ухом человека. Что-то шевельнулось в памяти, мимолетное и неуловимое, как увиденный однажды и сейчас же позабытый сон...

Человек со стальными глазами сказал несколько фраз с запинками по-французски. Поручик Паромов огляделся и незаметным толчком посоветовал осторожность.

– Не узнал... – едва слышно, заглушая слова кашлем, сказал он и, отыскав руку летчика, тайно крепко пожал. Неожиданная радость: такая же глупая ошибка. Белый, попавший по злой иронии случая в красные...

Уже все сопели и храпели, измученные и обессиленные от мук пережитого и ожидания грядущего дня, и будка от этого разноголосого храпа, свиста и сопения напоминала какую-то необыкновенную работающую полным ходом машину. Не спали только поручик Паромов и летчик Соломейко. Они лежали рядом и шепотом разговаривали, моментами затихая и оглядываясь. Полным ходом работает странная машина – можно говорить и не бояться, что скажешь что-нибудь ненужное, неосторожное. Впрочем, боялся этого поручик Паромов, а летчик Соломейко забывался и часто переходил от шепота по-французски на разговор вполголоса по-русски. Поручик Паромов брал его за рукав и дергал, а Соломейко ухмылялся и произносил:

– Вы забываете, что мы все-таки не в гостях, а дома... Вот чертовое время: стали забывать сами, кто мы: белые или красные...

Крепкий уравновешенный человек этот Соломейко: и тут не перестает острить и смеяться. Это действует на Паромова, как прием лавровишневых капель. Метель и вихри на душе затихают, и боль, и оскорбление, которые недавно казались вечными, окрашиваются не в трагический, а комический цвет. В наши дни все бывает, и не надо ничему удив-

ляться, не надо ничем возмущаться, надо только не терять спокойного духа, взвешивать и овладевать обстоятельствами.

– Я уж был раз под расстрелом... Однажды сам себя приговорил к расстрелу... И вот, как видите, жив. И теперь, поручик, умереть мы не умрем, только время проведем, как поется в солдатской песенке... – Соломейко, опершись на локоть, стал рассказывать случай, приведший его в будку: прилетел ночью не туда, куда было надо, и спустился у красных. Арестовали и вот так же посадили с другими пленными в сарай. Раздели всех, чтобы получить вражеское обмундирование в полной чистоте, без кровавых букетов. На расвете начали выводить партиями на расстрел. Он в первую партию не попал. Ждал очереди. Пришло в голову рискнуть: поставить на карту полчаса оставшейся жизни. Подговорил оставшихся сотоварищей, и все по знаку кинулись к двери амбара, наперлись разом, и дверь распахнулась. Выбежали под носом у часовых и в разные стороны. А выпал большой снег, сумерки еще висели. Часовые, конечно, за ними, открыли стрельбу. Только цель-то скользкая: большинство в белом нижнем белье, по снегу-то и совсем не видать, а тут еще и крылья за спиной выросли. Несколько человек убили, а большинство уткло...

– А совсем, было, приготовился умирать. И Господу помолился. Я, знаете, стал фаталистом. Чему быть, того не миновать. В свою судьбу верю.

А вот еще случай: прилетел он под новый год с важной экстренной эстафетой на одну станцию, а рядом на соседней – красные. Все в суматохе, настроены нервно. Возвращаться ночью не было сил, да и мотор что-то пошаливал. Морозы стояли. Решил заночевать. Выпили коньяку, поздравились. Без этого, как известно, и смерть не красна русскому человеку; он так устал, что уснул, как младенец, отвалившийся от груди материнской. Положили его в билетной кассе, в углу за печкой. Тихо. Печь крепко истоплена. Хорошо. Слышал ночью какую-то возню, беготню, крики, но сон казался милее жизни: до конца не проснулся. А рано утром просыпается: тихо. И пришло в голову, что «свои» отступили, забыли про Соломейко. Посмотрел он в окно: китайцы трех пареньков ведут. Ну а если китайцы, значит, станция в руках у красных. Так вот почему ночью была суматоха и беготня! Что же теперь делать? Осталось одно – пустить себе пулю в лоб, чтобы не утруждать китайцев. Запер дверь, приготовил револьвер. В этот момент шаги по коридору. Кто-то остановился у запертой двери и взялся за ручку. Соломейко всунул было дуло револьвера в рот, да пришла мысль, отправляясь на тот свет, прихватить с собой хотя бы одного большевика: направил револьвер в дверь и начала сажать пули. А за дверью крик и знакомый голос:

– Соломейко! Что с тобой? Опомнись!

Слава Богу, не убил. А оказалось, что впал в ошибку. Со сна да с похмелья все сам сочинил и стрелял в приятеля,

коменданта, который пришел будить и звать к чаю.

– А китайцы? – шепотом спросил поручик Паромов.

– Не китайцы, а казаки-калмыки это были и вели захваченных красноармейцев... Почему я не выстрелил в рот, отложив это удовольствие на одну только минуту? Не судьба еще умереть. Я фаталист...

Долго разговаривали. Поручик Паромов совсем забыл обиду и оскорбление. Завтра все выяснится, и будут сожалеть и извиняться. Все-таки так оставить этого невозможно. Паромов лично явится к полковнику и доложит об этом безобразии. А впрочем, полковник тоже порядочный хам. Кричит и третирует, как мальчишек. Вообще теперь «они» облипли, как и большевики, всякой дрянью, которая за спинами других обрабатывает свой патриотизм в звонкую монету... Опоганили, подлецы, чистое знамя Корнилова.

– Слышите?

Оба насторожили уши: орудийный выстрел. С которой стороны?

– Красные! Это бронепоезд лупит. Во! Не так далеко...

– А вот и наш ответ.

Грохнуло орудие близ станции, и стекла в маленьком окошке зазвенели мелкой дрожью. Почти все проснулись и сели. Начали беспокойно шептаться и тихо переговариваться. В глазах большинства загорелся огонек тайной надежды. Только Соломейко и Паромов беспокойно посматривали друг другу в глаза и бросали только им самим понятные

фразы и одинокие слова...

Пугливый рассвет мутно поглядывал в окошко и вздрагивал при каждом орудийном выстреле. Застрекотал пулемет, отдаваясь эхом в близком леске. Долетел со станции крик людей и ржанье коней.

Соломейко приподнялся и, ковыляя меж телами, лежащими и сидящими, пробился к окошку. Посмотрел и стал тискаться к двери. Делал какие-то знаки рукой Паромову, но тот не замечал, продолжая углубленно смотреть внутрь своей души. Шум голосов и топот казацких коней остановился у будки. Загремел замок, и дверь, распахнувшись, закрыла Соломейко.

– Обрадовались, сволочи? Обрадовались?

И затрещали выстрелы винтовок, злые, торопливые, сливающиеся в барабанную дробь, а на полу будки застонали и закрутились люди. Вскикивали, метались, бросались друг на друга, ползали около стен, по полу, что-то вскрикивали и, взмахивая руками, валились и стучались головами о пол... И все это продолжалось не больше десяти секунд, а потом сразу тишина и топот лошадиных ног в отдалении.

– Поручик! За мной!..

Поручик Паромов приподнялся на руке, улыбнулся Соломейко и снова опустился...

– Прощайте... – с хрипом прошептал он...

Подполз к раскрытой двери один из раненых: цепляясь за косяк и обмазывая его кровью, поднялся на ноги и, покачи-

ваясь, как пьяный, стал кричать, неуклюже взмахивая в воздухе одной рукой:

– Товарищи! Товарищи!..

На станции кричали «ура», и эхо его повторял лесок, куда убежал Соломейко... На полу, в будке, сидел и радостно хныкал парень с бабьей рожей, обмазанной грязью и кровью:

– Наши, наши, наши...

Поручик завозился и тоже сел. Глаза его блуждали, и в них было безумие и ужас. Он остановил неподвижный взор на хныкающем парне, и тот стал ему улыбаться. Потом парень засмеялся и закричал Паромову, помахивая рукой:

– Жив? Наши, брат, пришли... Радуйся!

Поручик кивнул головой, улыбнулся и снова лег, положив голову на ногу убитого соседа. Лежал, напряженно силился что-то вспомнить, и в его памяти вдруг ярко вырисовался «синий раскрытый глаз», который не хотел закрываться...

– Давайте-ка носилки, товарищи!.. Здесь живые есть...

Глава четвертая

Если «Бог есть любовь», то любовь есть Бог...

В любви все: цель, смысл и красота жизни. От нее все чудеса на земле и на небе. Она творец всех драгоценностей, видимых и невидимых. Она – гений творчества, гений искусства, величайший архитектор, скульптор, художник, поэт и музыкант. Произведения ее гения щедрой рукой разбросаны на каждом нашем шагу, но мы так привыкли к этим чудесам, мы так невежественны, что не замечаем их и считаем чудесами. Только уродство, извращение, безобразие бросаются нам в глаза и кажутся «чудом», а красота уходит из поля нашего внимания... Разве не чудеса творит любовь, украшая землю неисчислимым количеством цветов изумительной красоты и разнообразия в форме, рисунке и сочетании красок? Разве, помимо этого, любовь в мире не творит нам еще певцов, музыкантов, целые хоры и оркестры, славословящие любовь, радость и красоту мироздания? Мы любимся цветами, пьем их аромат, слушаем дивных солистов и хоры и оркестры пернатых, но совсем не задумываемся над всеми этими чудесами. Не в тысячу ли тысяч больше творит всяких чудес любовь в душах человеческих? Не она ли делает нашу душу зеркалом, отражающим образ и подобие Божие? От любви вся наша поэзия, недаром называемая «божественной», все наши искусства, наука, религии и мечты о наступлении Цар-

ства Божия на земле. Ведь все религии, все социальные утопии, все научные теории о будущем социальном счастье в конечном счете питаются от живой воды того же источника жизни – любви человека к человеку. И когда покидает Любовь душу человеческую, из нее уходит Бог и вселяется – Ненависть. Дьявол. Зверь из бездны. Душа человека превращается в темную и страшную бездну, в которой нет ни красоты, ни творчества, а только хаос разрушения и смерть...

Такие мысли часто бродили теперь в голове Паромова в бессонные ночи, когда лазаретная палата погружалась в молчание, нарушаемое лишь тяжелым дыханием раненых да порою их стоном, бредовым смешком или вскриком ужаса, и неожиданно в слабо освещенной палате, как в сумраке предрассветном, появлялась, как ангельский призрак, белая и стройная фигура женщины. Неслышными шагами эта женщина подходила и склонялась над изголовьем больного и так удивительно спокойно, кротко и ласково шептала что-то, стараясь не разбудить других. Изредка ее шепот переходил в речь вполголоса, и тогда, казалось, вся палата наполнялась отсветом ее души: любовью к человеку... Тогда Паромов думал: чудо любви воплотилось прежде всего в женщине, в ее материнстве, и через нее, через женщину, сохранилась и прячется любовь в наши страшные дни. Только женщина спасет мир от хаоса и разрушения, ибо в ней, в ее материнстве, вечный источник жизни и победа над смертью...

Паромов смотрел на белый призрак, от которого источа-

лось столько кроткого и нежного терпеливого сострадания, и тихая нежность начинала теплиться в его душе, на глаза навертывались слезы умиленности и такой безграничной благодарности, что хотелось перекреститься на нее, как на образ Богоматери. Кто она, эта странная в наше время душа? Ее все так любят, ревнуют ее друг к другу, как дети к матери, называют «сестрицей», и так преображаются их лица, когда она говорит с больными, каждый из которых недавно еще носил лик звериный. Вчера в страшных мучениях умирал на соседней койке, слева, бородатый красноармеец, мужик из Ярославской губернии. Тяжело умирал, в сознании, хотя говорить уже не мог. Объяснялся лишь глазами и жестами. Такая бездонная тоска смотрела из его синих глаз.

Успел давно рассказать Паромову, что у него дома – жена и трое детей, и заставлял писать домой письма. Вчера с утра лишился языка и только метался и с тоской смотрел вокруг, словно все искал кого-то. Когда подошла сестрица, он улыбнулся, поймал ее руку и не выпускал. Так и отошел в другой мир с крепко сжатой рукой сестрицы...

Кто она? Одно ясно: не демократического происхождения. Тонкий профиль, построение речи, чуткость соображения и «музыкальные руки». И улыбка и голос – тоже, как музыка, и жесты и походка – все говорит о породе и высокой культуре. Нет, она не «из красных». Хотя иногда и употребляет слово «товарищ»... Когда она смотрит в глаза Паромову, она словно видит и понимает, одна только догадывается,

что он вовсе не «товарищ Горленка»... И, может быть, поэтому она уделяет ему так много внимания, и в глазах ее, устремленных в его душу, всегда точно вопрос: «Кто ты?..» Так хотелось бы иногда признаться, сказать ей всю правду, рассказать, как это случилось, что он превратился в «товарища Горленка», недостреленного «белыми», но даже ночью, когда сестрица подходит к его постели, кто-нибудь из больных ревниво следит за ней, завидуя, призывает:

– Подойди и ко мне, сестрица!

А рядом, справа, лежит глуповатый парень с бабьей рожей. Он положительно влюблен в сестрицу. Даже если дремлет и лежит лицом к стене, то чувствует, когда в палате появляется сестрица: очнется, перевернется, и на его широком и курносом лице засияет улыбка... Смешной такой парень. Должно быть, еще в будке он почувствовал к Паромову симпатию. За то, что тот заступился, когда казак ударил его по носу. Называет Паромова «товарищем Мишей» и делится такими интимностями, словно они друзья детства или закадычные приятели. И, несмотря на все это, «товарищ Ермишка», так он называется, ревнует, сердится и подслушивает, о чем разговаривает сестрица с «товарищем Мишкой». Тогда Мишка, а не Миша. Вмешивается в разговор и наивно так спрашивает:

– Пошла бы ты за меня, коли я посватал бы? Теперь можно, по декрету.

А то еще откровеннее:

– Сестрица! Погляди, что ли, на меня! Что ты все глаза на Мишку пялишь? Он – женатый. Не верь ему.

– Я замуж не собираюсь, товарищ Ермиша.

– Прямо сказать – монашенка... Не одобряю я твоего поведения... Покуда молода да красива – только и погулять.

Нет ни места, ни минуты для раскрытия тайны. Да и зачем ей знать, что Горленка вовсе не Горленка, и что он – не «красный», а «белый»?.. Не все ли ей равно? В ее глазах светится только любовь к человеку и его страданию. Часто Паромов смотрел на нее и думал: если бы он был художником, то непременно написал бы с этой женщины молодую Богоматерь после Благовещения. Когда он впервые увидел ее, очутившись в красном походном лазарете, он сразу чему-то удивился в ее лице, в глазах, в улыбке и голосе. И захотелось спросить, как ее зовут. Она кротко улыбнулась и, смотря в глаза прямо так, как смотрят чистые дети, ответила:

– Называйте, как все, – сестрой.

А так хотелось узнать. Зачем? Бог знает. Лежал иногда и угадывал: Любовь? Вера? Надежда? Непременно из этих трех. И вот сегодня, совершенно случайно и не гадая, узнал. Прочитал на носовом платке, позабытом сестрой на столике у его кровати: «Вероника». Не угадал. Никому не сказал, даже Ермише, который тоже не раз интересовался: «Как звать-то тебя?» Так приятно было сознавать, что никто в палате не знает, а он знает. Прочитал на уголке платка «Вероника», вдохнул ландыш духов, источавшийся от полотняного плат-

ка, и спрятал его покуда под подушку. Лежал и улыбался: вот он поразит, назвав ее по имени! Все ждал, когда подойдет к нему «Вероника». И имя, и духи – все из «старого мира». Непременно она носит, как и сам он, тайну. Старался разгадать эту тайну, фантазировал и сочинял: была богата и счастлива – это видно даже по платку, – кого-нибудь любила и, желая спасти, пошла к красным в сестры милосердия. Нет, не то. Тогда откуда в ней столько любви и совсем нет неприязни и хитрости? Загадочно. И неразгаданная тайна приковывала его мысль и рождала постоянные думы об этой женщине. Случая поразить не выпадало. Не хотелось, чтобы Ермишка услышал, как он назовет ее «Вероникой» и удивит. Хотелось сделать это тоже тайно, для двоих. Случилось это вечером. Ермишка поплелся «до ветру». Койка слева опустела: труп синееокого ярославца унесли уже, и никто не согласился лечь на его место, а новых не привезли еще. Она подошла, чтобы дать лекарство. Он, выпив с ложки противную микстуру, опустил приподнятую голову снова на подушку, вспомнил вдруг про «тайну» и тихо произнес:

– Благодарю, Вероника...

Сестра точно испугалась собственного имени. Так неожиданно оно для нее прозвучало в устах этого чужого человека. Выпрямилась и удивленно раскрытыми глазами длительно посмотрела в лицо «товарища Горленки». Покраснела и быстро отошла, не проронив слова... Поразил!.. Отчего она покраснела? Испугалась? Может быть, как и он, она здесь

под чужим именем и личиной? Значит, угадал?

С этого момента Вероника заметно стала бояться Горленки, хотя часто он замечал, как она с беспокойным любопытством бросает и задерживает на нем свой взгляд издали. Если бы знал, что так случится, не стал бы поражать. Точно отпугнул ангела от своей постели.

– Сестрица! Что ты все к другим, а к нам не подходишь? – жаловался иногда Ермиша, почувствовавший внезапную перемену отношения. Ермиша сказал прямо, бесхитростно, и, должно быть, тоже напугал этим сестру. Видимо, ей не хотелось, чтобы ее «уклонения» от постели Горленки замечали другие. Она стала подходить, но больше к Ермише, отчего он приходил в буйно-радостное настроение.

– Что, Мишка? Ко мне передом, а к тебе задом больше кажется! – удовлетворенно подшучивал он над соседом, когда, поговорив с Ермишей, сестра только на мгновение приостанавливалась и, не глядя в лицо Горленки, мимолетно спрашивала:

– Вам ничего не надо?

И уходила.

Наблюдательный Ермишка, хотя и кажется глуповатым, спрашивает вдогонку:

– А почему такое: мне говоришь «тебе», а ему – «вы»? Теперь, по декрету, все господа.

Сестрица стала говорить Ермише: «Вы, товарищ». Одинаково обоим.

Однажды ночью, когда загрязненная рваная рана от лошадиного копыта на ноге Горленки повела к признакам заражения крови, Вероника стояла, склонясь над его постелью, и слушала его пульс: он очнулся от забытья и остановил на ней изумленные лихорадочные глаза с расширенными зрачками. Не сразу узнал.

– Господи, как я давно не видал тебя, Лада.

– Очнитесь! Вы бредите...

В жару он все перепутал. Он был рад Веронике, а смешал ее с Ладой. И потому сказал «ты». Но он не понимал, что он спутался. Он действительно обрадовался, увидав лицо Вероники. А потом опять затмение: почудилось, что присевшая на постель женщина – жена, Лада, и он поймал ее руку и стал гладить. Заговорил что-то про красных...

Женщина закрыла ему губы ладонью руки, чтобы никто не расслышал, что говорит он в бреду, а он, продолжая путать два женских образа, стал целовать ладонь, заграждавшую его уста. Потом он сразу очнулся: сестра положила ему на голову гуттаперчевый блин со снегом...

– Не надо говорить, – смотря в глаза больного, сказала сестра и сделала едва уловимый знак движением глаз. – Не надо говорить... Поняли?

– Что ты все с ним возишься? Ни хрена он не понимает. Помрет, видно, – сказал Ермиша, спуская ноги с постели. – Сходить до ветру...

Когда Ермиша, шлепая громко огромными башмаками,

уплелся, Вероника наклонилась к Паромову так близко, что завиток ее шелковых волос защекотал ему щеку, а губы коснулись уха и сказали:

– Вы говорите и выдаете свои тайны.

А потом встала и уже строго сказала:

– Нельзя снимать пузырь с головы!

Потом она еще несколько раз ночью приходила к постели Паромова, меняла компресс и тревожно прислушивалась к его дыханию. Он каждый раз узнавал ее и говорил:

– Вы измучились... Идите и спите...

– А говорить не будете?

– Нет. Я теперь в здравом уме.

Перед рассветом она была последний раз. Мерила температуру. Он взял ее руку, лежавшую поверх его одеяла, и прижав несколько раз коснулся ее своими губами. Не отняла. Она была грустна, расстроена и задумчива. Точно отделилась от мира видимого и улетела в невидимый.

– Температура спадает, – подумала она вслух рассеянно и пошла. Паромов проводил ее глазами до самой двери, за которой она скрылась. «Опечаленная любовь, – подумал он. – Тяжело, должно быть, таким душам жить в наше страшное поганое время. Только здесь, в лазаретах и больницах, спрятавшись в сердце женщины, еще, как свет во тьме, светит любовь укрощенным страданиями людям...»

Глава пятая

Странное притяжение душ, впервые и случайно встретившихся, почти ни слова не сказавших о себе друг другу. Вероника хочет скрыть это, но не удастся. Паромов чувствует ее тяготение. Оно проскальзывает в мимолетном взгляде, в холодно произнесенном вопросе, в самой позе, когда она стоит близко. И сам он испытывает то же самое. Он чувствует Веронику на расстоянии. Иногда лежит с закрытыми глазами, и вдруг что-то заставляет его раскрыть их. Озирается и видит Веронику. Что это такое? Откуда это взаимное тяготение? Люди науки, уклоняясь от многого чудесного и необъяснимого в нашей жизни, в ответ только улыбнутся и скажут: «Сродство душ», – скажут, конечно, с оттенком иронии. Логичнее, убедительнее и красивее объясняет это буддизм: две души, знавшие и любившие друг друга в веках прошлого, встретились в новых перевоплощениях и узнали друг друга тайно от нашей новой материальной сущности... И в самом деле, при первом же взгляде на Веронику у Паромова явилось такое ощущение, словно когда-то, очень давно, он уже видел и знал точно такую же женщину. Потом он стал чувствовать смутное беспокойство. Словно все хотелось что-то вспомнить, когда говорил с Вероникой. Это прямо удивительно: если он лежит и чутко дремлет, он сразу пробуждается, когда Вероника, даже издали, остановит на нем свой

взгляд. Должно быть, то же испытывает и она. Хочет скрыть и не удастся: и в мимолетном взгляде, и в пустом будничном вопросе, и в том, как она дает ему лекарство или слушает пульс и сердце, в самой позе, когда Вероника подходит к нему, во всем прорывается нечто особенное, неуловимое и безымянное, что пропадает, когда она смотрит, говорит, дает лекарство вообще, всем другим. И доброта, и улыбка – всем, кроме него, одинаковые. К нему, может быть, даже меньше этой видимой доброты, ласки, улыбок сочувствия, чем ко всем другим, но за ними есть какая-то тайная и неразгаданная еще близость. Не потому ли он, уже зная, что ее зовут Вероникой, называл Ладой, именем самого близкого ему в жизни человека? Словно душа искала материальных форм для выражения чувства неосознанной еще близости...

Когда однажды она целый день не появлялась в палате, Паромова охватило странное чувство: тоска и скука, смешанные с непрестанным ожиданием, от которого утомлялись нервы, зрение и слух. Почему ее нет? Что с ней случилось? А вдруг она уже больше не появится? Моментами почудится ее голос – и вздрогнет душа. То шаги – поднимает голову и посмотрит. Почему он так ждет и почему думает о ней, а не о Ладе?.. Нет, это так... Разве можно забыть Ладу, разлюбить Ладу? Никогда! Он старался заставлять себя думать о Ладе, вспоминал ее глаза, улыбку, ласку, и как-то незаметно мысли о Ладе переходили в мысли о Веронике, сплетались, перепутывались, и наконец, Лада уходила, и

оставалась Вероника... Ловил себя на этом и пугался. Что же это, в самом деле? Неужели он... Какая чепуха! Вслух смеялся, отвертывался к стене лицом и решал заснуть. Но вот опять чудится вдали голос Вероники. Пришла? Нет. Померещилось. Вечером не выдержал и спросил у сиделки:

– А где сестра?

– Заболела что-то. Не тиф ли... На той половине – тифозных насовали.

– Не померла бы! – сказал Спиридоныч и вздохнул.

– Очень просто, – заметила сиделка.

Сразу заболела душа. Точно самый близкий человек хворал и может умереть. Точно телеграмму получил об этом, и надо сейчас же что-то сделать, куда-то поехать, что-то предпринять. И от того, что он ничего не мог сделать, душа разрывалась на части.

– Как же это так?..

Всю ночь не спал, прислушивался. Когда появлялась сиделка, подзывал и спрашивал:

– Ну как? Сестра?

– Получше.

– Доктор был?

– Ждем.

Следующий день прошел в напряженном мучительном ожидании. Был доктор у сестры, и в палате говорили, что – «тиф», заразилась...

– Ну, вот и все! – повторял Паромов и думал о смерти,

о гибели молодых и прекрасных душ, о том, стоило ли ей «класть душу» вот за такие «друзи», как Ермишка, Гришка, хулиган Ерепенников? Ведь таких неисчислимо множество. Жизнь этой прекрасной женщины он мысленно называл «редчайшей драгоценностью». Не на фальшивые ли бумажки променивает она эту драгоценность? Даже являлась мысль дерзновенного и кощунственного характера: убивают самых лучших, умирают тоже самые лучшие, – где тут смысл Божественной справедливости?..

Однажды поделился своими мыслями и сомнениями со Спиридонычем:

– Почему, товарищ, всякая сволочь живет и преумножается, а вот такие, как наша сестрица, за все умирать должны? Как ты полагаешь?

Спиридоныч высказал несогласие, замотал головой:

– Не за сволочь она муку на себя приняла, а по любви великой, по Христовой заповеди, друг...

– И за эту любовь должна жизнью заплатить? Почему, спрашиваю, сволочь живет и наслаждается, а вот она...

– Премудрость Божия, брат! Может, они, такие-то, самому Богу нужны. Вот Он и подбирает их с грешной земли.

Паромов рассердился:

– Чепуха! Хорошие-то на земле, братец, нужнее, чем на небе. Там и так всяких праведников и святых много.

– Господу, братец, виднее, кого куда определить – вот что! Кто знает? Может, и так, что видит Господь судьбу челове-

ческую на земле и жалеет: смерть посылает, чтобы укрыть от злобы и страданий... Видишь, как у нас на земле жисть-то стала?.. Хуже ада кромешного...

И Спиридоныч начинал рассказывать разные «божественные истории» о промысле Божьем, о чудесах разных, о предопределении. Много знал он таких случаев, как из божественных книг, из жития святых, так и из своего житейского опыта. Начнет рассказывать – и конца нет!..

Спиридоныч мурлыкает, а Паромов думает о прекрасной женщине.

Прошел еще день, а сестрица не появлялась. Зато вечером оба обрадовались:

– Ну что? Как сестрица? – спросил Паромов у сиделки.

– Получше. Спал жар-то. Ослабла уж очень.

Какой горячей радостью облилось сердце Паромова, когда Вероника снова появилась в палате. Точно пасхальный звон в душе затрезвонил...

Ну и доктора пошли: крапивную лихорадку от тифа не отличили! Хорошо, что в тифозную больницу не увезли. Это нередко случалось. Похудела, глаза еще больше сделались, а голос еще нежнее. Как музыка этот голос в палате. Улыбнулась кроткой печальной улыбкой издали Паромову. Совсем нестеровское лицо. Есть у него такая молодая инокиня... Подошла и спросила, как он себя чувствует.

– Я так боялся за вас. Все мы боялись... Зачем вы рано встали с постели? У вас такой измученный вид... Я думаю,

что у вас все-таки есть жар...

— Никакого жара.

— Лихорадочный румянец на щеках и глаза...

Румянец сделался еще ярче. Она немного растерялась, спрятала лицо под приспущенным белым платком и отошла к другой кровати.

«На кого она похожа? Где он видел это лицо?» — часто думал Паромов, но тщетно рылся в черепках и обломках прошлого. Точно такой же вопрос, казалось, рождался и в фиалковых глазах Вероники, когда они останавливались на Паромове. И опять приходила в голову идея перевоплощения душ...

И вот неразрешимая загадка наконец неожиданно разрешилась.

Был вечер. Почти все в палате уже спали. Только в дальнем углу, около постели появившегося сегодня новичка сбился кружок бодрствующих. Новичок рассказывал о своих геройских подвигах и о том, как его ранили. Раз десять уже он успел рассказать, как все случилось, но любопытство не прекращалось и поставляло терпеливых слушателей герою. Там были и Ермишка со Спиридонычем. Это было необычно и сразу взволновало Паромова. Тихо прошла к нему Вероника и сказала, что надо сосчитать пульс и померить температуру.

Подсела на его койку и взяла руку. И вдруг пришла к нему в голову несуразная мысль, что Вероника его любит... Засту-

чалось тревожно сердце, и страх и радость нового ожидания, казалось, полились по всему его телу, по всем его уголкам... Его рука дрожала, и не сразу нашелся пульс. Потом, посчитав пульс, Вероника удивленно посмотрела своими фиалковыми глазами ему в лицо. Должно быть, пульс был ненормальный. Встретив эти глаза своими, Паромов неожиданно почувствовал, что... любит эту женщину. И почудилось, что фиалковые глаза это поняли и сказали: «Да».

– Странный пульс... вы здоровы?

Паромов не ответил. Вероника встряхивала термометр, смотрела в пространство и точно кому-то невидимому, стоящему перед ней в пространстве, тихо говорила:

– Вы так удивительно похожи на... Если у вас есть брат, то его зовут Борисом.

– Вы знаете? – спросил Паромов почти с ужасом. Она слегка кивнула головой и снова в пространство спросила тихо:

– Жив?

– Не знаю. Если жив, то в Крыму.

– Знаю. Я – туда...

Но тут вернулся Ермишка:

– Все с ним возишься... Что, его жизнь-то тебе так дорога? Небось, мне не меряешь температуру-то...

– Ты здоров.

Тихо пошла из палаты и белым призраком исчезла в дверях. Паромов лежал ошеломленный: он сразу вспомнил. Это

Вероника Павловна Стораневич, невеста брата Бориса: портрет ее он видел у брата... Узнала! Неужели они так похожи? Так вот в чем разгадка ее тяготения? Только? Не любовь, а только воспоминание о Борисе рождало все его иллюзии? Отражение любви к другому?

И опять не спал и возился, точно нужно было разрешить трудную задачу. Решал, смотрел в «ответ» и убеждался, что решил неверно. И снова решал. А задача была такая: как назвать то, что происходит теперь в его душе? Бог знает что. Точно она его уже любила, а теперь разлюбила и полюбила брата Бориса... Как будто была огромная неожиданная радость и вдруг улетела. Пропавший мираж. Видел умирающий от жажды в раскаленной пустыне путник вдаль, над горизонтом, легкие силуэты сказочных замков и голубое озеро с белыми лебедями и склонившимися над водою чинарами, шел быстро и был уже близко. И вдруг все исчезло, и снова песчаное море и раскаленное солнце над головой. Так вот она Вероника, невеста Бориса! Невеста Бориса!.. На свете еще остались девушки, которые называются «невестами»... Ничего не осталось, а вот невесты, оказывается, уцелели. Невесты неневестные. Женихи ищут своих невест, невесты своих женихов. И не подозревают часто, что ищут среди живых мертвого. Жив? А кто скажет? А если убит? Бог знает, что лезло в голову. Иногда делалось стыдно и страшно от тех мыслей, которые рождались в эту ночь. Думал о том, что теперь все скоротечно и все рушится, разваливается. Она ду-

мает, что Борис, уже три года живущий в крови, продолжает хранить в душе непоколебленной идиллическую нежность хрупкого сосуда юной любви. А он... сам? Разве не превратились они на бесконечных фронтах из сентиментальных и романтических любовников в... кобелей, которые бросались на первую подходящую суку? Он помнит, как они с Борисом однажды, перед боем, в котором могли найти смерть, прежде чем идти на геройский подвиг, по-зверски удовлетворили свой половой инстинкт с помощью одной грязной полупьяной бабы... Он, муж Лады, и тот, жених вот этой самой девушки с фиалковыми глазами. Да он, вероятно, и думать-то о ней перестал...

Так он думал. Думал с непонятным злорадством, с сарказмом, с кощунством. Точно ему хотелось злобно втоптать в грязь окружающего всю святость и всю красоту человеческой жизни. И на рассвете он перестал думать и, уткнувшись лицом в смятую комком подушку, стал потихоньку плакать. О чем? Бог знает. Может быть, о том, что Вероника любит не его, а Бориса, а может быть, о том, что не остается ничего святого в жизни, во что можно было бы верить, и за что можно было бы умереть...

Глава шестая

Говорят, что самый вредный и страшный человек – это человек, прочитавший только одну «умную книгу». Революционная толпа с ее героями кровожадного действия – это все люди, прочитавшие одну «умную книжку» про свободу, братство и равенство.

Теперь, когда красное воинство, попав в лазарет, превратилось снова в мирных Иванов, Петров, в больных людей, и «товарищ» снова почувствовал себя прежде всего «человеком», подобным всякому другому, – красный туман рассеялся, стадное чувство распалось, и красная ненависть стала быстро таять. Как солнышко в непогоду чрез проносящиеся тучи, то и дело из омраченных злобою душ выглядывает Лик Божий. Иногда это выходит так трогательно. На глазах совершается чудо превращения зверя в человека. Смотришь на такого, преображенного, и изумляешься: он ли это, кровожадный зверь, говорит или делает? Гипноз злобы и ненависти, владеющий толпой, теряет свою силу над человеком, и поруганная любовь грустно выглядывает из его души. Там снова пробуждается жалость, сострадание, милосердие, и голос извечной «Божьей правды» начинает тайно, в молчании взвешивать и судить все содеянное в кровавом тумане революционного психоза. Лютые тигры начинают походить на ручных ягнят.

Долга зимняя ночь в лазарете. Делать нечего, днем выспишься, а придет ночь – сна нет. Возьются, вздыхают и все думают. Чего только не передумают эти люди за ночь, до свету.

У Паромова два беспокойных соседа: справа – Ермишка, слева мужик, бывший солдат царский, Спиридоныч. Оба из красной армии. Одолевают ночью разговорами. Все разные вопросы и сомнения. То политика, то совесть. То обе вместе.

Товарищ Ермишка самый ходячий тип из революционной толпы. В голове его такой хаос, такая путаница слов и понятий. Настоящий лесной бурелом. Это самый распространенный теперь герой революционного времени, прочитавший одну умную книжку про революцию. По натуре своей совсем не злой и не жестокий человек. Теперь Ермишка очень часто забывает о том, что он красный, о том, что пришел «последний и решительный бой», и вдруг в своих воспоминаниях начинает хвалить какого-нибудь буржуя или бывшего начальника из «старого мира».

– А вот был у меня приятель, жандарм на станции, – вот был человек! Мало теперь таких. Женился это он на телеграфистовой дочке, на Машеньке. И так это они любовно и согласно жили, что смотреть со стороны было хорошо. И вот как Машенька от родов померла, он сперва пил водку, потом бросил и в монастырь постригся. Ей-Богу! Молодой еще, а так решил, что нет Машеньки – одно утешение пост и молитва...

– Ну и что же?

– Убили, царство небесное... – со вздохом говорил Ермишка и жалел: – Зря убили: вступился не в свое дело, деньги монастырские, то есть кассу на руках имел, а грабить пришли. Ну и убили... Да, жалко. Ребеночек от Машеньки остался. Как в монастырь уйти, он его целовал-целовал, а потом это отдал бабке, махнул рукой и пошел в монастырь... И так, братец, все жалели, что которые плакали... Сирота теперь, круглая. Ни отца, ни матери. Верующий был...

Тут Ермишка задумался, поник головой, а потом спрашивает:

– Есть Он, Бог, или попы обманывают, – как узнаешь? Это, конечно, правильно говорят, что Бога никто не видал, а вот пуля летит... тоже, ведь, оно не видно. А кокнет невидимо – и готов!..

В такие моменты можно было говорить с Ермишкой обо всем: о Боге, о совести, о справедливости.

Но как только поднимались разговоры о политике и Ермишка перевоплощался в героя революционной толпы, он снова подпадал под власть «Зверя из бездны», и лазарет превращался снова в толпу одержимых кровожадной манией идиотов. Ермишка выдвигался в «олатыри», как здесь назывался митинговый оратор, и начинало казаться, что в Ермишке воплотился весь логический и душевный хаос, вызванный революционной бурей в голове народа. Речи Ермишки состояли из бессмысленного набора партийных ло-

зунгов, иностранных слов, перековерканных научных терминов и выражений. Во всю эту бессмысленную галиматью «олатырь» Ермишка вкладывал какой-то особый смысл, и – что всего удивительнее – Ермишку понимали и зажигались от этого набора непонятных слов революционным пафосом. Боже, что говорил Ермишка, этот мягкий и добрый по натуре парень, недавно еще умилявшийся над сентиментальной любовью жандарма к Машеньке! Говорил не злым, а самым мягким и добрым голосом, словно отвечал заученный урок, отвечал без запинки: «Всех буржуев надо убить, оставить только крестьян и рабочих!»... «Не трудящийся не ест!»... «Все города надо взорвать или срыть и на их месте завести инстинктивное хозяйство на принципиальных началах»... «Отрясем прах на интернациональных ногах! Отберем прибавочную неустойку. Смерть капиталу! Золотые или бумажные деньги – это обман народа империализмом с Антанты. Без аннексий и контрибуций! И если ты гражданин нового мира, то пожалуйста: пейте и кушайте и все прочее по ярлыкам или по революционной совести, без всяких денег, потому инстинктивное хозяйство на принципиальных началах. Пролетарии всего мира, объединяйтесь под красным знаменем национализации и социализации человечества!»...

И вот Ермишка в красном преображении. Он маньяк революции, он уже не поддается голосам совести, жалости, для него нет никаких сомнений и вопросов справедливости и

Божьей правды. Чувствуя себя революционным героем, он хвастается окружающим своими революционными «подвигами»: захлебываясь от интереса, он рассказывает товарищам, как изнасиловал барышню, дочку помещика:

– Красивенькая из себя... Все на музыке играла... Как это запалили у них дом, они и начали метаться. Испугались, конечно, что убьем. Кто – куда. Ну, вот, хорошо. Утром я пошел в барский лес – а рано было, чуть только светать стало – гляжу – в кустах под березами что-то белеет. Вроде, как снег. Что, думаю, за диво? И снег-то не выпадал еще, в сентябре было. Неужели, думаю, от прошлой зимы остался? Подхожу это поближе – человек лежит: ноги в полусапожках из кустов торчат. Я еще ближе. Гляжу, а это наша барышня, Лёлочкой называлась, спит. А кофта-то расстегнулась, и титьку видать. Махонькая. Вроде как репа с земляничкой-ягодкой...

Тут рассказ Ермишки прерывается радостным и мерзким гоготаньем слушателей. Слышатся восторги от такого удачного сравнения...

– Ну, товарищи, тут меня и смутило. Почему, думаю, теперь равенство и свобода, а я не могу, а барин нужен? Теперь поравнение всех прав, равная и тайная. Огляделся – никого нет, тихо в лесу. Подполз это я к ней вплоть и лег рядом да за титьку-то ее.

Тут снова гоготание, восторги и смакование момента.

– Проснулась это, глаза раскрыла да башкой в землю. Поджалась вся, кричит и ногами, как коза, об землю стучит. Ис-

пугалась! Потеха! А я это навалился, шарю это ее и говорю: не бойся, ничего не будет!.. С барином легла бы, а с мужиком брезгуешь? Почему такое? Разя мы, мужики, не люди?

– Правильно, товарищ! Прошло оно.

– Лучше, говорю, не кричи, а то вот как! Тут я вытащил одну руку да в шутку ее за шею и давнул маленько. Что такое? Сразу затихла, вроде как кончается. Думал, задохлась. Повернул я ее вверх брюшком, а она и руки и ноги врозь, глаза закатила, а живая: титька-то прыгает да еще пуще дразнится... Ну, что же тут?... Ну, я ее и тово...

– Ах, сволочь! Счастливый какой...

– Ничего не составляет, товарищи. Моя Грунька была куда слаще.

– Не померла все-таки?

– Ни Боже мой. Ничего. Пришла в себя, села, в травку глядит и платице ручкой застегивает, пуговики эти самые... Даже и не заплакала... Постоял это я, плюнул да пошел...

Все одобряли и завидовали. Только солдат Спиридоныч, слушая рассказ Ермишки, хмуро смотрел в землю, раздумчиво покачивал головой, а после вздохнул и произнес:

– Как собаки вы стали...

Спиридоныч вообще был молчалив, задумчив и туго подавался революционному пафосу. Он был много старше всех окружающих и как-то обособлялся от них своей склонностью к порядку, тишине и самоуглубленности.

– Хотя вы и товарищ, а все-таки... пакостник ты, – тихо

отозвался потом Спиридоныч на геройский подвиг Ермишки.

Тот обиделся:

– Это почему же, товарищ?

– Кобель!

– Это ты насчет барышни, что ли?

– Насильничать – такого декрету нет.

– Охотой-то ни одна девка в первый раз не дается. Сперва-то всегда насильно приходится, дурья твоя голова. Ты, видно, на вдове женился?..

– Кобель! И говорить с тобой неохота.

– А что ей сделалось? Почему барину можно, а мне нельзя?

– Как собаки мы все стали... Как собаки!.. – самоуглубленно шептал Спиридоныч и опять тяжело отдувался. Точно его что-то давило, тяга какая-то невидимая.

Входила тихой поступью сестрица, и вызванные рассказом Ермишки разговоры пакостные сразу обрывались. Точно входила сама совесть: всем вдруг делалось неловко. Почему это? Не потому ли, что появление этой женщины, в душе которой горел огонь человеческой любви, сразу освещало темную бездну ненависти, и люди инстинктивно начинали понимать мерзость свою?

– А вот ты Расскажи-ка сестрице про барышню-то! Что она тебе скажет? – говорил Спиридоныч Ермишке. Тот ежился и напоминал провинившуюся собаку.

– Будет тебе... помолчи уж! – просительно говорил Ермишка и виновато топтался, стараясь не смотреть в сторону сестрицы. Ермишка сразу терял уверенность в своих революционных принципах и переставал чувствовать себя героем. А ночью он уже возился на койке и спрашивал:

– Не спишь, Горленка?

– Нет, а что?

– Не спится что-то. А что я хочу спросить тебя: ежели теперь у барышни той... родится, стало быть, младенец...

– Ну! Сын твой от насилия?

– Будет она, барышня, его любить, хотя он... от мужика, то есть от меня?

– Думаю, что будет. Матерью ему будет. Материнская любовь ничего не боится.

– Оно, конечно. Почему не любить? А вот отца никогда не узнает. Не скажет она ему. Не признается.

– А зачем ему знать отца, если отец – подлец?

– Это я то есть?..

И Ермишка замолк. Только возился и шептал, точно разговаривал с кем-то:

– Ничего неизвестно... Сокрыто все от века веков... аминь. Ничего неизвестно. Жива ли, нет ли?.. Эх, пролетарии всех стран...

Наутро Ермишка был уже опять мягкий, добрый, даже застенчивый. Очень боялся Спиридоныча, который все еще поглядывал на него презрительно и со вздохом думал вслух:

– Все люди как собаки стали... все...

Иногда Спиридоныч тихо напевал «покаяния двери от-
верзи ми» и не замечал, как пугливо избегает его глаз при-
тихший Ермишка, а товарищи, заслыша гнусавое пение Спи-
ридоныча, переглядывались и подсмеивались.

– Опять задьячил...

– Ему бы в попы, а он в красную армию. Чудак человек.

Чудак – человек. Однажды товарищи поймали Спиридо-
ныча за самым контрреволюционным занятием: заперся в
чулане и молился там коленопреклоненно Богу. Молодой хо-
тел кому следует донести, обозлился, но узнала об этом сест-
рица и сказала:

– Никого это не касается, товарищи. Вреда никому он не
делает, а верить или не верить в Бога – дело нашей совести...

– А пожалуй, что так, сестрица... Ну, пускай его упраж-
няется... Не троньте!

При всех Спиридоныч никогда не молился. Боялся или
стеснялся. Иногда Паромов замечал, как он крестится поти-
хоньку от людей и, выбрав минутку, спросил:

– Почему прячешься?

– Смеются нынче над этим. А в нас слабость пошла: гре-
хом все хвастаемся, напоказ наставляем свою пакость, а еже-
ли хорошее что-либо, так боимся либо стыдимся обнару-
жить. Так-то! Да оно по нашему времени и опасно бывает,
хорошее-то. Как апостол Петр во дворе первосвященника от
Христа отрекся, так и мы, случается, отрекаемся. Сделаем

хорошее, то есть по своей совести, а потом испугаемся да скорей грязью и закидаем... Чтобы не видать было этого хорошего-то.

Поговоривши на эту тему с Паромовым в часы ночной бессонницы, Спиридоныч надолго делался угнетенным, пришибленным и сразу как-то старел лет на десять. В такие дни он чаще уходил в чулан и запирался там, почти не разговаривал и не смотрел на товарищей. Что-то случилось с человеком. С большим трудом и болью носит он это в тайниках души своей. В такие минуты смотрит и не видит, слушает и не слышит. Только появляющаяся сестрица озаряет его напряженное лицо неожиданной улыбкой. Точно, увидя ее, вспоминает, наконец, забытое или находит потерянное.

– Вот она ничего не испугается, – произносит, разговаривая сам с собою.

– Что, Спиридоныч, говоришь?

– Такая страха ради не поругается правде Божьей, говорю.

– Про кого это ты?

– Про нашу сестрицу. Гляжу на нее и дивуюсь: что она бьется? Из-за чего покою себе не знает? Почему никакого злого слова не скажет? За всех у ней душа распинается... Не всякому дано, голубчик. Какого звания она, все понять не могу. Если из благородных, так проста уж очень, а если из простых – благородна очень.

– Что ты больно задумчив стал? Нездоровится? – спросил однажды Паромов.

– Нет. Что мне делается? Живу. Нездоровье мое другого сорту. Нет такого снадобья, чтобы выздороветь... Горбатого, видно, могила исправит... Как-нибудь расскажу, покаюсь тебе. Ты поумнее тут других-то... Все хочу с сестрицей, поговорить да облегчить себя. Только все время не выберу. Хочу, хочу, а боюсь. Глаз ее добрых боюсь. Этим всем что рассказывать? Только похвалят. А мне не то нужно. Хвала-то мне будет, как молитва Дьяволу. Тебе я тоже хочу рассказать... Чтобы ты знал мой страшный грех.

– Э, Спиридоныч, теперь никакими грехами никого не удивишь. Все – в крови.

– Так-то оно так, а за что убить? Ежели врагом считаешь, нападение на тебя, или свою слободу и права защищаешь – на то она, война; не ты, так тот тебя убьет. Вроде как будто и нельзя без этого. А у меня случай другого сорта. Любил я одного человека; много всякого добра от него видел и никакого сердца на него не имел. Были мы с ним, как два брата. Лет пятнадцать вместе на охоту ходили. Ежели бы мне кто раньше сказал, что я убью того человека когда-нибудь, я подумал бы, что – дурак, шутит... И вот этого самого человека я... убил, брат.

– В ссоре или невзначай что ли?

– Спасти, брат, хотел, а наместо того – убил... Хотел свою любовь ему показать, а наместо того любовь-то свою под топором спрятал...

– Не понимаю, Спиридоныч.

– Убил. Топором. Голову отсек...

– За что же?

– Говорю тебе: любовь свою надо было спрятать. Теперь, братец, любовь-то к ближнему твоему, которую нам Христос-то препоручил, дьявол другой заповедью подменил. И хочешь будто всем сердцем возлюбить и любовь свою на деле доказать, а вместо того дьявола тешишь. Так было. Господа у нас были, надо правду сказать, кляузные. Все с мужиками судились, из-за всякого пустяка – к земскому или становому таскали, скотину загоняли для штрафа и всякое. А был у них сын, тот совсем другого сорта был человек: когда на лето с ученья приезжал, то все за нас заступался. Совестьливый был. И вот кончил он свое ученье и приехал из Питера с молодой женой.

Вот я все поглядываю на нашу сестрицу: очень уж она походит на нашу молодую барыню. Другой раз испугаешься: не она ли? – подумаешь... Старый-то барин помер, а молодой в дело вступил, сразу все и развалилось. Отец умел оборачиваться да рожь на обухе молотить. Старого режима был господин. А этот не умеет, совестится. Долгов много отец сыну оставил тоже. Ну вот и начал он нам землю продавать. Добрый был и совестливый: против других нам совсем задешево продал. Осталось это у них десятин двести с лесом-то, и недохватки, как видимо, стали одолевать. Вот он, молодой-то, и определился в лесничество. По лесной части он учился. А мы с ним еще и раньше дружками были: все по лесам

да болотам вместе бродяжили, за охотой ходили. Ну, вот, как он лесничим определился, меня лесником на службу взял. Опять вместе охотиться начали. Весь казенный лес исходили, живого места не оставили. Лет пятнадцать вместе охотились и так сдружились, что в другой раз и поза-будешь, что он тебе начальник: промазку какую на охоте сделаем, если я – он меня ругает, если он – я его. Одним словом – дружки. Сколько мы с ним из одной бутылочки, из одного горлышка винца выпили! Возлюбил я его, как брата старшего. Больно уж обходительный был. Деньги есть – не считает. Какая баба придет, пожалобится, что корова сдохла, – «На! Когда-нибудь сосчитаемся». Вот какой был души человек! Сколько он мне греха простил. Прогулял раз деньги казенные – поругался, погрозил, а ничего не сделал, пожалел. И все его уважали до самой этой революции. Ну, а потом... как земля и воля пришла – озверели мужики. Родительский грех вспомнили. Пришли ночью громить. А он понимал, что время такое: барыню с детьми в город переправил, один остался. Думал, видно, так, что женщины и детеныши испугаться могут очень, а что его не тронут... Сам я этого погрому не делал и не видал. От греха ушел из деревни в лес и в сторожке тогда проживал. Думал так, по Писанию: отойди от зла и сотворишь благо. Сперва-то я вступался за барина, когда мужики промежду собой спалить грозили барский дом, а потом бросил: как собаки изорвать в клочки могут за мое заступление... Бог, мол, с вами. Уйду, и кончено.

Как знаете. И вот раз ночью, спал уж я, кто-то в сторожку стучит. Вздул я огонь, ружье взял. Время такое: все может быть. — Кто? — спрашиваю. — Я, — говорит, — Спиридоныч, выручай! — По голосу узнал: барин мой, господин лесничий. Отпер дверь, впустил, вижу — дело неладное: без шапки, чуть дышит, и лица на нем нет... Ну, расспросил: чуть не убили, убежал и скрылся в лесу. — Пусти, — говорит; — переночевать, дай, — говорит, — отдохнуть, больше сил нет. — Заплакал. И так мне его жалко, братец, стало, что и я стал плакать. — За что? — говорит. — За чужие, — говорю, — грехи, за родительские, страдаешь, неповинно. Поплакал, немного успокоился. Я его приласкал, покормил. Затопил печку: дрожит, как в лихорадке. Испугался очень: в огонь чуть не бросили. Прямо чудом спасся: огонь на избы перекинулся, народ и оставил на минуту без внимания. Кругом свет, а чуть подальше и не видать ничего. Убег, и в лес, ко мне. Верст семь бежал. — Выручал, — говорит, — я тебя, Спиридоныч, выручи теперь ты меня. — Ложись, — говорю, — и спи спокойно. Я покараулю. Ежели что — разбужу, беги в овраги, к ручью. Туда пищу принесу... — Лег это он на лавке у печи, ножки поджал. Махонький такой стал. Даже и глядеть на него жалко. За что, думаю, такого хорошего человека так обидели? Он и так землю свою почитай даром нам отдал, да и остальную отдаст, ежели серьезно поговорить да припугнуть. И решил я ему помочь в беде по дружеству и любви, по христианству. Придушил огонь, вышел за дверь. На небе это зарево от пожара

играет: деревня горит. Вместе с барином-то, дураки, и себя запалили... Ночь прошла благополучно. Утром дочка ко мне пришла, хлеба да молока принесла. Увидала барина, испугалась. Как уходить, увела меня с собой и говорит: «Найдут и тебя с ним убьют». Я наказал ей молчать, а на душе беспокойство... Не поплатиться бы самому за любовь к нему? – Надо бы, – говорю, – тебе уходить в город. – А он – в лихomanке, головы поднять не может. – Еще, – говорит, – одну ночку у тебя пролежу, а там пойду. – Ну что сделаешь? Под вечер было. Все думаю и беспокоюсь. Около сторожки похаживаю да послушиваю. Совсем стемнело, хотел идти, поужинать да спать лечь: надумался, инда устал. И вдруг – это голоса по лесу... Перекличка. Вроде как на облаве. Сразу догадался: разболтала Маврушка, раскрыла нашу тайну!.. И слышно, что к сторожке все ближе подходят... Вот тут и смутил дьявол-то. Надо было разбудить барина да – «беги, куда глаза глядят», а у меня сомнение: увидят, что от меня идет, догадаются, что я его схоронил от народу. А голоса совсем рядом, за первым поворотом дороги. Я – в сторожку. Бужу, а он спит. И вдруг, это, заместо любви-то злоба у меня к нему. Что же, и я за тебя помереть должен? А голоса все громче да ближе... И злоба и ужась напали... Как быть? Огляделся, это, по избе, и попадись мне на глаза топор... И не помню, что случилось. Схватил, размахнулся, да по шее... Только топор поспел бросить, а в сторожку мужики ввалились. «Вот он где!» – да на меня, душить... «Спрятал». А я вывернул-

ся и кричу: «А вы сперва поглядите, как я его спрятал». Ну, видят, – зарубленный лежит, побили да ушли... Остался я один... Стою и боюсь на лавку глядеть. Сразу, это, раскрылось, какое окаянство я сделал...

Спиридоныч оборвал рассказ и махнул рукой. Лицо его сделалось строгим, глаза – тяжелыми. Опустил голову и руки. Жалобно стонал в палате больной и во сне жаловался Богу: «За что, Господи милостивый».

Спиридоныч поднял голову:

– Вон, днем Бога ругал, а во сне молится душа-то... Да оно так теперь: и Богу-то помолиться на людях опасно... Вот тоже и любить-то человека нельзя. Из любви да жалости хотел человеку жизнь спасти, а вышло... что сам же и убил. Не любовью, а злобой мы все теперь живы... Много ли теперь таких осталось, которые в крови человеческой не запачканы?.. Есть ли посреди нас такие?.. Сестрица милосердная только одна...

Паромов слушал молча, и вдруг в его памяти встала снежная ночь в степи и один широко раскрытый глаз убитого человека. Все уже пропало, только снег, и на нем страшный глаз, который не хочет закрыться и все растет, растет, заполняя собой снежное пространство...

– Третий год вот из головы не выходит, – шепчет Спиридоныч. – Думаю все о нем... Как на охоту ходили, на травушке-муравушке рядом валялись, из одного горлышка водочку пили... и как потом, под взмахнутым топором он осталь-

ной раз поглядеть на меня поспел. И сейчас вот глядит... Глядит и ровно все спрашивает: «За что же ты меня?» А что я могу ответить?

– Гм... да. Ответить нечего – тихо отозвался, Паромов, и оба стихли, перестали разговаривать. Верно, в души обоих смотрели глаза убитых ими людей... Тихо плыла ночь над землей, и в синеватых стеклах окон мерцали далекие звезды.

– Прости ты нас, окаянных! – стонал во сне красный богохульник.

Глава седьмая

Двух на выписку: Спиридоныча и Горленку. Точно два именинника в палате. Все завидуют. Еще бы не завидовать: прежде чем в свои части отправиться, разрешено домой на побывку на две недели. И в одну губернию. Попутчики. И так сдружились, лежа рядышком в лазарете, а тут счастливый случай. Значит, все – вместе, и горе, и радость пополам... Покуда выпустят, еще дня три пройдет. А терпенья больше никакого нет. Коротают время разговорами. Теперь они, как два отрезанных ломтя. Уйдут куда-нибудь в уголок двора, сидят и все обсуждают, как поедут и что дома делается, и разные душевные разговоры. Не любят, чтобы другие их слушали. Ни к чему. Мало ли что по дружбе говорится? Ернишку особенно боится Горленка: шпионит, все ему интересно, что люди по секретам говорят. Спиридоныч его не боится, но не любит: «Пакостник и больше ничего, хотя и олатырь!» Говорят о разном, а всегда в одно место упрутся: как душу от крови человеческой омыть? Спиридоныч потерял революционный пыл и пришел к выводу, что кровью счастья не купишь, а только свою душу Дьяволу на забаву отдашь. Промахнулся. Доброй волей винтовку взял, а теперь... Никуда не уйдешь: насильно мобилизуют.

– Почему же ты добровольно вызвался людей убивать?

– А так, вроде затмения души. Я смолоду совсем другой

человек был. Родители-то в сектантах были. Секта такая у нас есть – «Новый Израиль» называется. Слыхал? Ну, вот... В молодости-то и я придерживался. Хотя уж по форме-то церкви придерживался, а все-таки шатался... Все настоящую правду искал. Все думал найти, где люди по Христовым заветам живут. Мальчишкой был я набожный, на клиросе пел, кадило попу подавал и руку целовал, а в заутреню на Пасху плакал от радости. Вот какой я был!.. А подрос, еще больше загорелся. Читал Евангелие и божественные книги, ходил на спор попов с разными сектантами, маленько поумнел и сам стал размышлять. Постиг, что где-нибудь между людьми должна же быть Благодать Святого Духа. Вижу, что в православной церкви не горят настоящей правдой Божией, а так, отчитывают только по форме, что положено. И стал я искать. Взял свой инструмент и стал бродить из города в город, из монастыря в монастырь. Прослышал про отца Иоанна Кронштадтского. Говорили, будто в нем Христос воплотился. Вот я бросил работу – церкву тогда в селе под Ярославлем ремонтировали – продал инструмент и пошел в Кронштадт. Не нашел, чего искал. Заговоришь о жизни и поступках отца Иоанна в общине, а кругом рот затыкают: грех – дескать, осуждать и рассуждать не наше дело. Как же это, думаю, не наше дело, когда Господь мне разум дал? Махнул рукой и ушел... И вот впал я, друг, в тоску и в безверие. Пить стал. Доходил до последнего. Штаны да рубаха, и больше ничего. А тут война подошла кругосветная... Нахлебался крови. По-

том эти люди объявились, коммунисты самые. И взбреди в башку, что они-то и приведут настоящую правду Христову на землю... А уж женат был. Не пускала жена, плакала, а я опять загорелся, захотел правде Божией послужить. Ну, вот и того... видишь сам, что на земле делается... Опять в крови захлебываемся... Так-то. Не хочу больше... Не могу. Как винтовку чистить – руки дрожат...

– Да, видно, с винтовкой правды не найдешь... – задумчиво говорил Горленка и, оглядевшись по сторонам, начинал говорить о том, что бросить надо братоубийство это...

– Милый! Верно. А как сделать? Силой заставят. Сунут в руки винтовку, а позади пулемет поставят: иди, убивай! Куда уйдешь от этого окаянства? Некуда. Дьявол царствует над нами. В Писании действительно сказано: отойди от зла и сотвори благо, а ты научи, как отойти! Ты, Горленка, как вижу, много знаешь, вроде как учитель какой, а вот тоже не скажешь, как отойти...

– Можно отойти... Как-нибудь придумаем...

Пролежав два месяца в лазарете вместе с красными, Паромов присмотрелся поближе к врагам и потерял прежнюю злобу к ним. Несчастные, сбитые с толку люди, часто хорошие и добрые, часто обманутые мечтатели, часто подневольные рабы с винтовками, частью фанатики и маньяки, прочитавшие только одну умную книгу о революции. Около них много всякого человеческого хлама и мусора жизни, из породы «паразитирующих»... А встречаются вот и такие, как

Спиридоныч. Немного, но есть и такие праведники, заблудившиеся на путях исканий «правды Божией» на земле... А разве у них не то же? Разве уж так много у них таких «белых» Спиридонычей?.. Разве их не облепили кругом как мухи – сахар, хлам и мусор революции? Разве у них нет фанатиков и мечтателей, тайно лелеющих надежды вернуть прошлое со всей его неправдой, против которой бились и в борьбе гибли тысячи лучших и честнейших русских людей? В этой братской резне погибают праведники, «Спиридонычи» обеих сторон, убивая друг друга. А правда жизни в стороне. Она не принимает ни тех, ни других и делает бессмысленным это взаимное истребление.

Страшный обман и самообман. Величайшая из дьявольских провокаций. И орудие ее – «Зверь из бездны», ненависть и злоба, ослепившие душу и разум человеческий, с одной стороны, творящие вот таких «Ермишек», а с другой, для них, «подпоручиков Изюмовых», сузившие смысл своего существования до одной маниакальной цели – убить как можно больше красных, и ведущих учет своим убийствам в записной книжке. Иногда Паромову приходила такая мысль: если бы заключить перемирие на один только день и перемешать, как колоду карт, красных с белыми, то на другой же день исчезла бы властвующая над толпой злоба, и ненависть и борьба сама собой прекратилась бы. Беспрерывно проливаемая кровь, как керосин для стихающего пожара. Надо положить конец этому кровавому пиршеству Дьявола. Но ка-

кими путями? Как укротить «Зверя из бездны»? Огромное большинство и здесь и там тайно думают, как и Спиридоныч, об отдыхе, о доме, о семье, о тихих радостях мирной жизни, все пресыщены кровью и слезами. Кажется порой, в тихие вечера и тихие беседы людей и здесь и там, что вот стоит только какому-то большому бесстрашному и сильному духом человеку появиться между ними и сказать: «Бросайте оружие убийства и расходитесь по домам!» – и все опомнятся, и кровавый туман рассеется, а люди начнут плакать от радости, что, наконец-то, явился пророк от Господа. Но нет его, пророка! Не является. А являются пророки «Зверя из бездны» и вливают непрестанную злобу в души человеческие. Но как же быть тем, кто прозрел? Как быть, если ты освободился от власти «Зверя» и не злобу, а тоску и сожаление рождает этот бал Сатаны? Во имя чего убивать? И кого убивать? Слепых и обманутых? Во имя родины? Но родина прежде всего в твоём народе, стало быть, во имя родины убивать родину? Во имя освобождения ее от губящих ее фанатиков? Но фанатики есть и здесь и там, и в этом братоубийстве они всегда Каины, а не Авели. Родина! Огромная, великая, необъятная родина... в руках кучки Каинов. Откуда их сила? Только в пробужденном ими «Звере», и пока мы во власти «Зверя», мы будем оставаться рабами нашей злобы и ненависти... Надо утишить бездны людского моря, надо убить самого «Зверя». Другого выхода и спасения нет. А его не убьешь ни пулями, ни снарядами. Он, как сказочный дра-

кон: вместо каждой отрубленной головы у него вырастают две новых. Его убить можно только любовью. Вот такой любовью, которая, как неугасимая лампада перед образом, в душе сестры Вероники к несчастным обманутым людям... Не идея социализма или коммунизма, или монархизма, или какая-нибудь другая политическая или социально-экономическая идея выведет нас на путь к «Светлой Обители», а только освобождение душ от власти «Зверя». Только когда стихнут вихри над взбаламученным морем и «Зверь», вышедший из черных бездн, снова провалится в бездны морские, выглянет солнышко любви. И тогда исчезнут, как дым, как воск перед лицом огня, фанатики – отражение лика «Звериного», и «Волки в овечьих шкурах», пасущие стада озлобленных и слепых.

Такие мысли и раньше приходили в голову Паромова, а теперь, когда он пожил рядом с «врагами» во вражеской шкуре, стояли неотступно и преследовали душу, требуя действенного отклика. Но что же делать? Если ты здесь будешь проповедовать: «Долой гражданскую войну!» – тебя расстреляют, как самого злейшего врага; если будешь делать это там – сделают то же самое. Не проповедовать, а просто бежать от убийства – тогда и здесь, и там ты дезертир, подлежащий расстрелу или повешению.

Так в долгие зимние ночи, в стане врагов, созревала в душе Паромова идея «вооруженного нейтралитета» – вооруженное дезертирство...

Ну вот и пришел долгожданный день освобождения. Всю ночь Горленка с Спиридонычем глаз не смыкали: не спалось от волнения и радости. С солнышком поднялись и стали в дорогу снаряжаться. И собирать-то нечего, а все гребтилось. Не умели своей радости спрятать: все улыбались да посмеивались. А товарищи все растревожились, тоже рано, как куры с насёдел, с коек поскакали, а зачем – и сами не знают. Лежали только те, кто совсем не вставал. По-разному в их душах это событие отзывается: одних раздражает, и они тихо ропщут:

– Воюй, воюй – все конца нет.

Другие посматривают с плохо скрытой завистью, иные с печалью в глазах: вспомнили родной дом, деревню, кто – мать, кто – жену, молча вздыхают. Некоторые зло подшучивают:

– Ты, Спиридоныч, молебствие бы в чулане отслужил!

– Он – ловкий: без попа вымолил, без всякого расхода. Все в чулане шептал: «Поддай да поддай, Господи!» – вот и добился...

– Надоел Богу-то. Поди, говорит, ко всем чертям.

Спиридоныч не сердился. Пускай! Когда он вышел из комнаты сестрицы – прощался – на глазах его были слезы. Потом ходил Горленка: вышел тоже задумчивый и тоскливый. Точно радость в комнате у сестрицы оставили.

Провожать товарищи на крыльцо вышли. И сестрица между ними. Горленка все оглядывался, точно потерял там, по-

зади, что-то. Спиридоныч торопился поскорее улицу миновать и в поле за городок выйти. Словно боялся, что его воротят.

Был уже март в начале. Весна тихонько посмеивалась. Снега спали, дороги раскисли. Капель тяжело падала с ледяных сосулек. Ручьи в разных местах бормотали. Солнышко спины пригревало. А ветерок еще холодноватый, сырой. Утро было радостное, все в сиянье, а в оставшейся позади церкви к утренним часам звонили – печально, кротко. И звоны в весенней радости пробуждали в душе Горленка далекие годы детства. Вышли уже и за город, а звоны все слышно. Спиридоныч снял шапку, перекрестился и сказал:

– Слава долготерпению Твоему, Господи!

Паромов шел медленной, тяжелой поступью и отставал от Спиридоныча.

– Ты что, товарищ, точно и уходить тебе неохота? Что ты запечалился так?

– А так, знаешь... Тоскливо что-то.

– Небось, сестрицу жалко?... Да, брат, это верно: немного таких на свете.

Спиридоныч мудр был в простоте сердца своего. Угадал. Паромов думал о Веронике, и не было у него, как у спутника, радости в душе от весеннего сияния, дуновений, бульканья ручейков. Точно вся радость осталась позади, а впереди ничего не было. Как часто он раньше тосковал по ласкам

Лады, лелеял мечту о свидании с ней и своим ребенком, а теперь точно и Лада с маленькой Евочкой остались тоже позади... Перед глазами все еще стояла палата, тихий вечер, полумрак, и в нем, как белый призрак, стройная женщина, то плавно идущая, то склонившаяся над изголовьем больного. Шаги становились замедленными, сомневающимися, и точно кто-то тайно спрашивал: «Зачем и куда ты идешь?» И в самом деле, куда и зачем? Ведь, он не Горленка, а Паромов. Как былинному витязю, ему на пути встанет перепутье с двумя столбами, и на обоих надписи, грозящие смертью. Пойдешь в часть Горленки – тайна немедленно раскроется, и превратишься в «белого шпиона», расстреляют. Пойдешь по другому пути – превратишься в «красного шпиона», и тоже расстреляют... Вот если бы можно было не воевать, а устроиться при лазарете сторожем или служителем и исполнять приказы Вероники, он никуда не пошел бы. А потом, когда выпал бы благоприятный момент, они оба убежали бы... Куда?.. В Крым. Это единственный уголок, где есть покой и мир и где можно не убивать. Одна она не сумеет туда пробраться. Когда прощался, наскоро рассказал ей, какими путями пробираться туда. Эх, как она любит Бориса! Странная: сунула ему что-то в карман... Вспомнил про это и, вынув, стал разворачивать бумагу: обручальное кольцо. Сказала: «Это Борису, если...». Хотела сказать «если жив», но испугалась и поправилась: «Если встретитесь». Едва ли. Либо я, либо он, а не отвертимся, то оба... Может быть, даже уже... он. А на

том свете не женятся и не выходят замуж...

Паромов машинально надел кольцо на палец и, отбросив бумажку, задумчиво пропел из «Пиковой дамы»:

– «Сегодня ты, а завтра я».

– Что говоришь?

– Все, говорю, может быть...

– Ничего неизвестно... Ничего-то.

– Да, брат, быстры, как волны, дни нашей жизни.

– А я вот иду и думаю: что у меня там, дома, делается? Неизвестно. Ничего неизвестно. Может, и нет там никого. Может, и иду-то зря...

Дошли до станции и два дня воевали, чтобы попасть в теплушку. Попали, наконец и поехали.

– Никогда раньше и скотину так не возили, – сердился Спиридонч.

Если бы Данте видел внутренность этой теплушки и то, что в ней творилось, он непременно взял бы эту картину для изображения адских мук, изобретенных для грешников и грешниц Дьяволом. Ком сплетшихся червей, грязных и вонючих, совершающих явно все, что раньше люди делали в уединении. И когда Паромов вспоминал невесту Бориса, она начинала ему казаться не живым настоящим человеком, а героиней из сказок Шехерезады или из выдумок необузданного фантазера Ариосто. Он представлял себе жениха с невестой в этой теплушке и начинал хохотать...

– Что тебе весело? Что людям спать не даешь? Ночь, а

ты...

– Посмотри вон!..

Подслеповатый фонарь подсматривал, что делают черви. Храпели, пыхтели, лежа, как дрова, друг на друге. Сверкали нагие толстые ноги в человеческой куче меж детских голов и тоненьких ручек, и солдат с бабой пыхтели, совершая без всякого стеснения некоторое физиологическое отправление. А кто-то из темноты, посмеиваясь, говорил:

– Недаром он ее посадил в теплушку-то!.. Уговор лучше денег.

Несло смрадом: мочились и испражнялись ночью, как лошади и коровы...

Спиридоныч отплюнулся и отвернулся. Паромов закурил папироску и подумал: выдержит ли такое испытание «любовь к человеку» даже у Вероники?..

Глава восьмая

Миновали наконец железнодорожный путь, полный всяких безобразий и ужасов, полный хаоса и смятения после ожесточенных недавних боев, побед и поражений. Еще дымились там и сям пожарища, уныло смотрели на небеса руины домов, стены разрушенных водокачек, пахло дымом, смрадом гниющих трупов и теплой человеческой кровью. Каркало воронье над полуобнаженными от снегов полями, кружились ястреба и рыскали голодные, похожие на шакалов, собаки. Валялись там и сям поломанные орудия, двуколки, мертвые лошади... Еще не кончились расправы над врагами: попадались гонимые на расстрел пленные, заложники...

В прозрачном весеннем воздухе слышались еще вопли и стоны проплывающих с ранеными поездов... Когда вылезли из теплушки и отошли с полотна, оба радостно вздохнули.

– Видно, конец миру приходит... – говорил Спиридоныч. – И что только делается на свете? И глазам своим не веришь, братец...

Торопились поскорее и подальше уйти от железных путей. Уйти за лесок, что расползся по кособоку впереди. Когда очутились в леске, который закрыл все эти ужасы, выбрали сухонькое место под деревом и стали закусывать. Весело щебетали вокруг птицы, по оврагу звенел торопливый, как гор-

ный ручей, сток талой воды, пахло грибом и сырой землей.

– Вон и святочек глядит!..

Спиридоныч потянулся и сорвал фиалку.

– Божий глазок...

А Паромов вспомнил глаза Вероники.

– Везде, брат, растут... И на кровях, и на могилах... Не разбирают.

– Везде, Спиридоныч. Хорошо это ты сказал. И на могилах растут. Вероника тоже такой цветок. На могилах вырос он. Такой странный, огромный и душистый цветок со светящимся во тьме сердцем. Затопчут сапогами, на которых грязь с кровью.

– Откуда это у тебя колечко новое на руке? Незаметно раньше было.

– Колечко-то? – вздохнув, переспросил Паромов;

– Не сестрица ли на память отдала? Угадал-таки мудрец в простоте своей.

– Она, но... только не мне, брат.

– То-то. Помнится, что ты сказывал про жену... А я приметил и поклепал тебя: тоже подумал, как прочие, обеих обманывает: и жену, и сестрицу.

– А грех это?

– Да уж что нам о таких грехах говорить, когда по уши в мерзостях разных живем. По нынешним временам это уж и простить можно... Ты еще молодой: где устоять перед такой красотой? Кому она во грех, а кому во спасение... Ничего

неизвестно. Ни-че-го!

Славный Спиридоныч. Душа с ним отдыхает. Привязался к нему Паромов. Слушает его порою, и словно спасительный бальзам на смятенную душу проливается. Ничего необыкновенного не говорит, а все кажется новым. Слова невидимо освещаются исходящим из его сердца светом...

– Вот что, Спиридоныч. Неохота мне больно с тобой так скоро разлучиться. Не пойти ли к тебе денька на три?..

– Что же. Милости прошу. Не взыщи только. Небогато живем мы, угостить-то тебя не придется... Сам видишь наши места: точно одно погорелое место. Гляжу кругом, и даже страшно идти домой... Кто знает, что там? Ничего неизвестно. Мне, прямо скажу, с тобой прийти даже и сподручнее... Прямо от сердца говорю...

– Поживу у тебя, а там... видно будет. Воевать больше не пойду... – прибавил после паузы Паромов.

– Стало быть, в дизелтиры?

Паромов не ответил, а Спиридоныч не стал добиваться ответа. Что человеку досаждать да душу бередить? Он и сам это дело обдумывает. Вот повидается с женой, обсудит, как быть...

– Ежели на Кавказ, в горы... сто лет ищи, не найдешь! – подумал он вслух и стал рассказывать: – Бывал там. Благодать! Многие, которые не признают, туда утекают...

Паромов помолчал и сказал:

– Пожалуй, сейчас в Крыму удобнее.

— А ты... туда думаешь, если что?

— Туда.

— Тебе-то оно, конечно: там, сказывал, жена с дочерью?

Не о них в этот момент думал Паромов. О Веронике думал. И вопрос Спиридоныча кольнул его совесть упреком.

— Не знаю уж... Два года я жену с Марфуткой не видал. Не знаю, как там они без меня. Чай, поди, Марфутка выросла, не узнаешь. Что ей, годков пятнадцать есть? Есть.

Спиридоныч улыбнулся. Что-то вспомнил:

— Зонтик, говорит, господский, как вернешься, принеси. Гм! Потеха. Тоже барышней быть захотела... Все босая бегала, а тут ей зонтик! И все это с девочками пела:

Не купляй мне, тятя, шубу:

В шубе воши заедать.

Купи зонтик и калоши,—

Пушай люди поглядеть!..

Посидели, поели чистого снежку с веток, попили и пошли бодро и торопливо. Вышли на бугор: церковную маковку видеть. Спиридоныч показал на маковку:

— Это Ермолино, а оттуда восемь верст ходу. К вечеру дома будем. Наша деревня маленькая, всего-то двенадцать дворов.

Спиридоныч рассказывал про свою деревню, про свои дела и заботы, но Паромов не слушал. Он думал о своем. И так углубился в свои думы, что очнулся, лишь когда Спиридо-

ныч громко заговорил с приостановившимся верховым:

– Да свои, свои! Вот, гляди...

Спиридоныч подал свой документ. Паромов полез было за своим, но казак отдал документ Спиридонычу, махнул рукой Паромову и, сказав: «Проходите, товарищи!», – поехал рысью, позвякивая лошадиными копытами по встречным камешкам.

Сошли с проселочной дороги на большую, что тянулась к далекой церковной маковке, и опять стали бросаться в глаза молчаливые свидетели недавних боев: ямы, наполнившиеся водой окопы, патронные гильзы, раздувшийся труп лошади.

– И у нас, значит, дела были... И мы не миновали... Никуда от этого не уйдешь. Как под метлу все... – говорил с беспокойством в голосе Спиридоныч и все вздыхал. Попались бабы с грудными младенцами и с ребятишками.

– Откуда, бабыньки?

– Дальни, с Бугуруслановой волости...

– Куда же?

Одна заплакала и стала причитать: выжгли, дотла выжгли деревню, все разбежались. Сперва громили белые, потом красные.

– Ермолиным шли?

– Шли, шли... Там тоже горели. Одна улица осталась... Кругом тут...

– Что делают! И конца нет...

Все быстрее шагал Спиридоныч, все беспокойнее разгова-

ривал сам с собой и причмокивал губами, выпуская вздохи.

– Ничего неизвестно... ни-че-го!

Пришли в Ермолино. Только «товарищи». Жителей не видеть. Спросил про свою деревню.

– Такой не знаем, товарищ. Не слыхали что-то...

– Где же, товарищи, жители-то самые? Ермолинские-то?..

– Попрятались, сволочи.

– Почему так?

– Их, сволочей, надо бы всех под пулемет. Белогвардейскую сволочь с церковным звоном встречали... Вон там, в переулке, остались старухи какие-то... А вы кто такие будете и какие документы при вас?..

Опять остановка.

– Проходите! Есть время по домам шляться. Люди кровь проливают, а они...

– Ну, товарищ, не знай, какие твои заслуги, а я повоевал достаточно, – огрызнулся Спиридонич и стал ворчать: – Ты свою пролей, а чужую-то... И чем люди гордятся?

Уже снизилось солнце, ярко окрашивая подорожные лужи и болотины, отражавшие голубизну весенних небес золотисто-розовыми отсветами. Пролетали в голубых фимиамах, возносившихся в вечерних сумерках от земли к небесам, радостно гогочущие гуси.

– Тоже домой возвращаются... – печально сказал Спиридонич, провожая их долгим взглядом. – Гнезда будут вить да деток выводить...

И Паромов думал о пролетающих гусях: счастливые! Если бы крылья!

В этот момент, словно сейчас только, уши Паромова раскрылись, и в них влетело густое, с металлическим отзвуком, похожее на жужжание майского жука тихой ночью, гудение аэроплана. Такое странное, внушающее страх и тревогу гудение.

– Гляди: выше журавлей взвился! – произнес Спиридоныч, точно услышав мысль Паромова о крыльях.

Зловещее гудение. Точно сама смерть летает в сумерках, озирая обгавленную кровью землю. Может быть, там летят двое: Смерть и Дьявол...

Вязнут ноги в липкой грязи. С большой дороги свернули и потянули под уклон. Спиридоныч приостановился и уставился вдаль, в прозрачный вечерний сумрак.

– Вон! Цела. Слава долготерпению Твоему, Господи! – сказал и, сняв шапку, перекрестился на фиолетовое облачко с последним румянцем потухающей зари. – Погляди: вон, на горке-то, справа-то от березы, крыша? Моя! Дом мой! Собственный то есть. Ну, слава Тебе в вышних, показавшему нам свет!..

Потухала заря. Закричали где-то журавли. Пролетели, шелестя крыльями, галки на ночлег. Затеплились звездочки на небе. А все еще где-то гудел скрывшийся аэроплан...

– Ходу, брат, теперь! Стемнеет, в грязи и луже искупаемся... Развезло. И на ночь не подмораживает... Весна-матуш-

ка!... Пост великий... кончается... Как раз к Пасхе...

Казалось близко, а пришли, когда уже совершенно стемнело. Ни одного огонька в деревеньке. Точно мертвая давно. Боятся: чуть стемнеет, забьются и схоронятся. Для скорости огородами прошли прямо к бугру, где в темноте, как черная курица на яйцах, казалось, сидела, нахохлившись соломенной крышей, притаившаяся изба.

— Ну, вот... и дома...

Спиридоныч постучал в ставень, поглядел в окошко, опять постучал.

Паромов сразу понял, что изба пуста, а Спиридоныч все ждал голоса.

— Разя ушла куда... Пойдем со двора. Боятся теперь отвечать-то... А то ты тут погоди, а я перелезу да попытаю... Что такое, Господи Иисусе?

Звонко раздался в тишине ночи стук, наполняя ночь тревою. Потом оборвался. Хлопнула сильно дверь в избу. Должно быть, пустили... Что это? Паромов насторожился: было слышно, как в избе, надрываясь, плачет Спиридоныч...

Долго ждал Паромов, потом, когда плач смолк, залез на двор и пошел в избу. С трудом, ощупью отыскал он дверь и вошел. Спиридоныч лежал ничком на полу и не плакал, а шептал:

— Ничего неизвестно, ничего...

Паромов склонился и опустил руку на его плечо. Не ис-

пугался. Только еще раз, подхныкивая, повторил:

– Ничего, Горленка, неизвестно... ничего...

– А ты погоди плакать. Надо сперва узнать. Ушли куда-нибудь...

– А куда? Где искать?.. Теперь человек, как иголка. Обронил, и пропала. Куда мы теперь с тобой? Некуда нам... с тобой.

– Кто-нибудь есть же в деревне.

– Может, и есть кто, да теперь никто не пустит. Боятся. Что будет уже завтра...

Спиридоныч сел на полу, как татарин, и стал качаться.

Паромов сходил и притащил снятой с повети соломы. Спиридоныч уже сидел на коннике и разувался. Наложили на печь несколько охапок соломы, зарылись в нее головой и затихли. Стали было засыпать и страшно перепугались: прыгнула в солому кошка.

– Ах, милая! Наша кошечка-то... – шептал Спиридоныч, пофыркивая носом, и долго впотьмах слышалось мурлыканье кошки и шепот разговаривающего с ней человека.

– Что, дура? Одни мы с тобой? Зачем остались? Меня, что ли, ждала, а?

Проснулись от холода. Уже рассветало, и где-то пел скворчик. Спиридоныч вышел и долго пропадал. Вернулся, хлопнул руками и сказал:

– Ни одной живой души нет. А на дворе у Соломахиных – убитый валяется. Не знай, расстрелянный, не знай – так

невзначай. Давно, видно, лежит: крысы всю личность объели. А может, собаки...

Сел под божницей, и опустились, как плети, руки его.

– Где искать?

Долго сидел с опущенной головой. Кошка прыгнула к нему на колени.

Он поглаживал ее, а сам думал. Вдруг отшвырнул и встал:

– Может, на мельнице кто остался. Туда надо сходить...

Поели черствого хлеба, попили воды из колодца и пошли.

– Пришел ты, Горленка, в гости ко мне, а вот видишь: кошка да изба нетопленная...

Прошли в дол, к речке. Раньше тут лес был, и мельница в лесу пряталась, а теперь только кусты остались, мельница вылезла и смотрит сиротой.

– Никак дым? Так и есть. Значит, и живой человек есть.

Так приятно было смотреть на жиденькую струйку синеватого дымка над крышей. Спиридоныч торопился поскорей живого человека найти и расспросить о своем семействе, а Паромову захотелось посидеть в тепле, около огня, пообсохнуть и очень уж вдруг чаю захотелось попить. Был и чай и сахар, а чайник найдется: живые люди на мельнице.

Речка вскрылась и налилась до краев, а местами вылилась уже на луга, образуя зеркала, то круглые, то овальные, то словно осколки разбитых стекол. Точно облачки свалились с небес и упали на воду и тихо покачивались, напоминая поднятые паруса на море в тихую погоду. Мельница не работа-

ла, но шум водопадом падающей под колесо воды наполнял утреннюю тишину приятным хлопотливым движением, рождая впечатление мирного человеческого труда. Топко и вязко. Кое-где и дороги не разберешь. Забрели в топь и долго не могли выбраться. Скоро все луга зальет, и всплывет мельница в озеленившихся кустах. Кружатся, сверкая на солнышке, палевые и белые голуби над мельницей. Тянутся змейками дикие утки. И стрелять, видно, некому. Все на людей охотятся.

– Мельник любил уточек пострелять. Хорошее аглицкое ружье имел, – подумал вслух Спиридоныч и вздохнул: – А я раков ловил. У нас их не ели, а я жрал... Не знай, кто там, на мельнице. В такое время там едва ли... Может, поохотиться кто забрел?

Пробрались-таки к мельнице. Ботник с веслом на кормушке к кусту привязан. Через окошко огонь видно, человек у печки возится. У крыльчика, по тыну, рачни развешаны, намётка стоит. Рыболов, как видно...

– Никак Васяка наш... Больше некому... – прислонясь лицом к мутному стеклу окна, сказал Спиридоныч.

– Знакомы?

– Васяка-то? Ну, еще бы. Божий человек. Пойдем-ка!..

Взошел на крылечко, приостановился и дух перевел:

– Сразу устал что-то.

Вошли. Стоял у печи и теперь обернулся старый облезлый грязный человек со смешным в складках лицом, безусым и

безбородым, как у старого актера-комика. Попятился и уставился немигаючи, словно к защите от нападения приготовился.

– Васяка! Не признаешь? А ты погляди хорошенько, чу-дак-человек!

Васяка мигнул раза два и беззвучно засмеялся, показывая крепкие и белые зубы.

– Вон ты, какой стал... А этот?

– Этот мой друг-приятель, товарищ, – сказал про спутника Спиридоныч.

Васяка обвел зеленоватыми глазами Паромова с головы до пяток и опять беззвучно, одними щеками засмеялся.

– Он у нас Божий человек. Живет, как птица небесная.

– Раков жарю.

– Поставь чайник-то, скипяти водицы: чайку попьем. А все-таки засеребрился ты, Васяка. Видно, и тебя старость догоняет...

– Ничего. Помрешь, спокойнее будет. Жил в лесах да в болотинах, думал всю жизнь спокойно прожить. Куда тут! Два раза ловили да таскали. Расстрелять хотели... Никуда теперь от человека не спрячешься. Никакого зверя не боюсь, а человека не люблю, боюсь...

– Скажи ты, Васяка, где делись моя жена с Марфуткой? Ни одного жителя в нашей деревне не нашел. Что тут было? Почему разбежались?

– Я ведь по-прежнему все: в лесах да болотах живу. Слы-

шал разговор, а кто знает, правда или зря. Тебе разя ничего неизвестно?

– Ничего неизвестно, ни-че-го.

Васяка помялся, почесался и, лениво так выбрасывая слова, словно камни поднимал, безучастно и флегматично начал говорить. Как отступили белые, в избе у Спиридоныча больной «погонник» остался: при смерти был. Пришли товарищи и нашли. Сказывали, Косой выдал. Он все к жене Спиридоныча подъезжал. Женщина из себя красивая была. А она его к чертям посылала. Вот он и донес, что Федосья-то офицера спрятала. Со злобы. Убили Федосью. Саблей, сказывали, зарубили...

Спиридоныч слушал и, тяжело дыша, только повторял:

– Так... так...

Не заплакал. Бросил только, скovyрнул с фуражки красную звезду и метнул ее в пылавшую печь, а потом помолчал и еще спросил:

– А Марфутка?

– А кто ее знает. Сказывали, что мать зарубили, а Марфутку с собой взяли.

– Так, так... ну, что ж теперь?.. Теперь давай чай пить, – спокойно закончил Спиридоныч.

Паромову было не по себе: не знал, что сказать Спиридонычу. Изредка посматривал на его спокойное, сделавшееся суровым лицо, а слова не сходили с языка. Спиридоныч забыл про чай, все смотрел в окошко и повторял:

– Так... так... А не знаешь, где Федосья схоронена? – спросил, не оборачиваясь.

– А кто ее знает. Где-нибудь зарыли... Разя найдешь? А не все равно, где человеку гнить? Из земли родимся, в землю превратимся, – лениво протянул Васяка.

Долго сидели в молчании.

– Теперь спать только хочу... и больше ничего мне не надо – ничего не надо! – Спиридоныч залез на печь и стих. Скоро он заснул и тяжело, со стоном дышал, выбрасывая со свистом из груди отработавший воздух. Паромов сидел у стола и тихо разговаривал со странным лесным человеком-дикарем. «Отстал от мира». Не любит и боится людей. Живет круглый год на природе. С ранней весны до глубокой осени в лесу или на болоте; шалаши ставит, птицу силками ловит, рыбачит, грибами да ягодами и кореньями разными питается. Только в морозы ютится у кого-нибудь Христа-ради, один день в одной избе, другой день в другой. Не стрижется и не моется: говорит, что все равно опять грязный будешь и опять ноготь и волос вырастет. Первобытный бродяга. Про женщин заговорил, отплевывается. Полное уклонение от жизни и окончательное освобождение от культуры. Может быть, сейчас, в наши проклятые дни, этот дикий лесной человек – самый подлинный счастливец? Живет, как дерево или как заяц, и плохо отличает себя от растений и животных.

Не хочет быть человеком! Сам не говорит. Надо спросить, и тогда лениво и нехотя ответит.

– А что, в Бога ты веруешь? – спросил Паромов, с любопытством рассматривая этого природного циника.

– Мне все одно: есть ли Бог, нет ли его... И знать-то я про это не хочу...

– Попей чайку-то!

– Не пью я его. Одну воду пью.

– А водку?

– Отродясь не пивал. Вода есть – ничего не надо.

От теплоты в избе Паромова тоже потянуло ко сну. Прилег головой на руки у стола и задремал. Шумел водопад на мельнице, а Паромову чудился шум лазоревого моря, синие контуры Крымских гор, горячее солнце, белые морские чайки, далекий белый парус и радужные узоры морской воды под берегами. Спускается он сперва по крутой тропинке, потом по каменной лесенке к белому домику с колоннами, а на балконе, из зелени вьющегося винограда смотрит и радостно улыбается Лада с Евочкой на руках...

Глава девятая

Самое страшное, уродливое, жестокое и глупое из всех уцелевших допотопных животных – толпа в панике. Легче и безопаснее очутиться в обществе идиотов, чем в толпе. Не поддаться ее заразительному влиянию и до конца воспротивиться своему постепенному превращению в одного из таких же идиотов этого многоголового чудовища – это значит остаться до конца «человеком». Для этого требуется героическая сила воли, высокая культура духа и развитое чувство достоинства и самоуважения... Никакая храбрость тут не спасет. Люди, в течение нескольких лет живущие в наши дни пред лицом смерти, проявляющие исключительные подвиги храбрости, добровольно ходившие «умирать» и чудом спасшиеся, очутившись в панически настроенной толпе, нередко превращаются в жалких трусов, обращающихся в бегство по самому пустому и глупому поводу, по одному намеку на возможность потерять жизнь... даже в тех случаях, когда жизнь ничего, кроме одних мук и страданий, не дает уже человеку. Инстинкт жизни, освобожденный от «света разума», превращает нас в стадо баранов, волков, свиней, в бегемотов, в ядовитых гадов, в кровожадных тигров и трусливых зайцев.

А наши дни – сплошное царство толпы, потерявшей «свет разума» и наиболее трусливых и хищных выдвигающей в

свои «герои»...

Видели ли вы большой город с двухсоттысячным населением, превратившийся в стадо баранов, свиней, тигров и зайцев?

Достаточно было где-то и кому-то сказать, что комендант города погрузил в вагон свою корову и рояль для вывозки, чтобы началось это превращение людей в животных. Сплетня из уст в уста, от телефона к телефону, с базара на базар – быстро обошла все дома, все учреждения, все кофейни и лазареты, и на другой же день началось бегство из города. Напрасно на заборах вывешивались грозные и гордые приказы, в газетах писались успокоительные статьи, по улицам двигались с музыкой военные части, тщетно вылавливали и строго наказывали распространителей ложных слухов: рояль и корова, кем-то увиденные на станции, уже овладели умами и душами горожан. И хотя многие лично убеждались, что корова градоначальника по-прежнему стоит на дворе, в хлеву, а на рояле дети градоначальника по-прежнему каждый день играют «гаммы», – никто, даже и сами распространители ложных слухов, которым показывали и корову, и рояль, не верили или сомневались. Та ли именно корова и тот ли именно рояль? Бегство продолжалось под разными измышляемыми предлогами. Начали его те, кто имел рояли и коровы. С коровами и роялями порядочные и именитые горожане стали вывозить еще и жен с чадами и домочадцами... «Прямой опасности не грозит, месяца два-три во всяком случае го-

род еще продержится, но, знаете, на всякий случай надо облегчить воз... Береженого, как говорится, и Бог бережет»... «Женщины и дети – это, знаете, такой багаж, который в наше время лучше отправлять заблаговременно»... Так, несколько сконфуженно, оправдывались отцы семейств, когда им не удавалось скрыть от друзей и знакомых, как все взаимно старались, своего благоразумного предприятия... Те, которые еще не трогались с насиженных мест и иронически подшучивали над благоразумными приятелями, гордясь собственным гражданским мужеством, видя двигавшиеся к вокзалу вагоны с имуществом, начинали сперва задумываться, а потом тоже укладываться... А те, которые не имели коров и роялей, поддаваясь искушению, думали и говорили между собой: «От нас скрывают, а этим господам уже все известно. Они выедут, а мы останемся». И тоже начинали сниматься с мест и покидать город. И вот с каждым днем в городе росла тревога и делалось суетливее. Начинали пугать «свои» аэропланы и «своя» учебная стрельба за городом, уличные драки и скандалы превращались в нелепые слухи о начавшихся наступлениях и нападениях, а далекие еще неудачи на фронтах наполняли души подлой трусостью, заражавшей горожан, как эпидемическое заболевание...

Заболевали все, даже и те, которым при всех неудачах на фронте, все равно не грозила опасность вражеского мщения. Город превращался в толпу, охватываемую паникой... Паника совершенно овладела большинством населения, когда

потерявшие равновесие духа власти сами поддались общему настроению и начали метаться в своих попытках остановить бегство противоречивыми распоряжениями и мероприятиями. Желая облегчить дело возможной эвакуации, власть под видом разгрузки города от переполнения начала вывозить некоторые свои учреждения, а вместе с тем приостановила свободную продажу железнодорожных билетов на выезд из города всем желающим, вводя особые разрешения на право покупки таких билетов... Тут уж все почуяли близкую опасность, и началась борьба за право и возможность поскорее сесть в поезд. Паника тыла заражала фронт. Побывавшие в городе воины разносили слухи об эвакуации, и эти слухи, подрывая веру в победу, заметно расшатывали силу и сопротивляемость фронта. Одна новая неудача – и фронт дрогнул и быстро покатился назад, а воображаемая опасность превратилась в явную угрозу, с быстротой растущую и приближающуюся к охваченному паникой городу...

Можно было подумать, что люди ждут землетрясения, провала города, огненного дождя. Так велики были ужас и смятение на лицах, в семьях. Убежать, спастись во что бы то ни стало – вот общая мысль, задача и мораль... Бежать самому и помочь в этом своим близким людям – сделалось единственной целью жизни каждого культурного человека, а так как люди власти начали пользоваться ею для спасения своих семей и имущества, то началась ожесточенная борьба внутри города, ропот и осуждение власти, терявшей свой

престиж и достоинство. Ужас и смятение в городе бросались в глаза еще и потому, что были резким контрастом с торжествующим спокойствием и молчаливым презрением той части населения, которая оставалась на месте и ждала врагов, как желанных гостей. То были все обойденные и обиженные жизнью, терять которым было нечего, а выиграть что-нибудь было можно... Ужас и смятение одних вызывали улыбки радости и выкрики злобы и ненависти – других. Люди превратились в баранов, свиней, волков и тигров, готовых заживо съесть друг друга...

И вот пришел страшный последний день...

Зимний слякотный вечер. Туман повис над городом. Редкие подслеповатые фонари, кое-где украшенные повешенными наспех мародерами, поломанные и выбрасывающие пламя горящего газа наподобие огромных погребальных факелов. Медленно ползущие по улицам, мешающие друг другу обозы с военным имуществом; громыхающие грузовики, свирепо выкрикивающие и сверкающие электрическими глазами автомобили; люди с мешками на спинах, с чемоданами в руках; войсковые части, мерно отбивающие шаг, громыхающая артиллерия, повозки красного креста, с больными и ранеными; толпы женщин с детьми и узлами, извозчики с переполненными живым грузом санками, гул и стон, крики и ругань, смех и дикий хохот... Все это крутится в бестолковом хаосе, освещенное зловещим отсветом подожженных складов, и создает впечатление «конца мира» или одной из

«Египетских казней». Вот так же, вероятно, было в Содоме и Гоморре, когда обернувшаяся жена Лота превратилась в соляной столб от увиденной ею картины. Живые потоки по всем улицам стремились по направлению к вокзалу, то останавливались и с гулом крутились на месте, то снова начинали ползти, напоминая змееподобные чудовища. На площади, перед мостом через реку, образовался затор. Здесь шла борьба за возможность поскорее попасть на единственный уцелевший мост. Всем казалось, что мост отделяет жизнь от смерти. Стоит только переехать на ту сторону, и спасешься. Поэтому здесь люди переставали уже быть людьми и напоминали стадо грызущихся собак. Здесь, казалось, скопилась вся злоба и вся пакость человеческая. Дикий вой стоял у моста от криков, проклятий, стонов, плача и ругани. Если существует Дьявол, то, конечно, он был тут и хохотал от радости. Кого-то сбросили с моста, кого-то раздавили грузовиком, кто-то в кого-то стрелял. Люди падали, убитые пулями своими и вражескими, летевшими с холмистых окрестностей, где ликовали именующие себя «пролетариатом» мещане, лавочники, пропойцы и воры. Время от времени в сгрудившуюся около моста массу врезался и всех давил и расталкивал грузовик, полный вооруженными солдатами, пугавшими толпу залпами из винтовок и визгом пуль над поглупевшими головами человеческими, и затор прерывался ценою нескольких жизней. Тогда возобновлялось движение через мост, но ненадолго... Сбивали караул, поддержи-

вающий очередь и порядок, сцеплялись телеги и автомобили, и снова начинался ужас и безумие. Отчаявшиеся попасть на мост, бросали подводы, оставляли имущество и, захватив детей, шли к реке, где работали перевозчики. Эти «пролетарии» давно уже сделали миллионщиками, переправляя так называемых буржуев на другую сторону. Однако и здесь нелегко было попасть в лодку, и тоже шла борьба, сопровождаемая криками, стоном, плачем, мольбами и драками... Перевозчики отбивались от нетерпеливых «буржуев» веслами, иначе те не понимали уже, что лодки от переполнения идут ко дну. «Образованные, а дураки!» – кричали перевозчики, отпихивали рвущихся в лодку людей веслами.

Как описать то, что происходило на вокзале, на перроне, в поездах, сгрудившихся на путях и образовавших так называемую «пробку». Говорили, что пробку эту намеренно устроили железнодорожники, чтобы предать всех буржуев в руки «красных». Вокзал и дорога были в руках военных властей, умевших только приказывать под угрозой расстрела. Вероятно, именно эти приказания и завязали в узел согнанные для эвакуации поезда и локомотивы. Попавшие в вагоны счастливы уже несколько суток сидели там, ожидая отправки и боясь выйти, чтобы не остаться или не потерять возможности снова сесть, и никакие уговоры и угрозы не действовали, когда им объясняли, что именно их вагон не пойдет и потому надо выгрузиться. Ведь прежде чем попасть туда, каждый выдержал отчаянный бой с ближними, а тут снова вылезай

и иди в атаку. Не беда, что уже нечего есть и что невозможно пробраться в уборную для отправления естественной надобности: невыносимый запах от мочи и экскрементов был приемлемее, чем риск очутиться за дверью вагона. Люди перестали стыдиться, и унижительные картины человеческого естества никого уже не поражали, казались ничтожным пустяком. Собирали деньги и совали в виде взятки машинистам, кочегарам, сцепщикам, предполагая, что от них зависит очередь отправки того или другого поезда и вагона. Те брали, таинственно подмигивая, говорили, что «завтра двинут», но и «завтра» вагоны стояли на прежнем месте... И все-таки эти люди были счастливее тех, которые, как черви в коробках, копошились в залах вокзала на полу... Казалось, что здесь устроена грандиозная больница для идиотов и сумасшедших, согнанных в один пункт со всей России. Люди всевозможных положений, профессий, возрастов, мужчины и женщины, в одиночку и семьями, представляли собой пестрый табор безумных или приближающихся к безумию. Все в возбужденном состоянии, подозрительны, обидчивы, испуганы, измучены, злы и несправедливы друг к другу. Сидеть уже негде. Путаются ногами. Много больных тифом валяются по углам, наполняют воздух своими бредовыми вскриками. Незаметно умирают и остаются рядом с живыми: некому распорядиться вынести труп. Из брошенных лазаретов и больниц сюда прибежали все, способные передвигаться, не потерявшие еще сознания, и здесь умирают

каждый день десятками, заражая здоровых. Облака табачного дыма, в котором люди шевелятся, как призраки. Стоны больных, крик грудных детей, столкновение из-за кусочка места, из-за вещей, грабеж и кражи, вопли потерявших своих детей матерей, ссоры с револьверными выстрелами, самоубийства... Вся эта оргия ужасов происходит в дымном полумраке: электричество не работает, залы освещены лампами и огарками свеч. Эти вздрагивающие в табачном, то синеватом, то желтом, дыму огоньки напоминают восковые свечи в храме и какую-то особую панихиду по заживо погребенным. Настроение это, рожденное огнями свеч, неожиданно переходит в полную иллюзию. Что это? Нет, нет, это не иллюзия, не галлюцинация. Где-то читают нараспев «Слово Божие» и потом поют «Со святыми упокой». То в передней вокзала пред образом Спасителя священник наскоро совершает панихиду по одному из только что убиенных на поле брани офицеров... Вдали плач и рыдания осиротелых членов семьи. Эти рыдания находят отклик, и в разных сторонах им вторят истерики жен и матерей, потерявших недавно мужей, сыновей, близких. А в огромных окнах вокзала, обращенных в сторону города, точно грозовые зарницы, играют зловещие отсветы пожаров... и время от времени стекла окон начинают дрожать и жалобно звенеть от далеких оружейных выстрелов, похожих на ворчание грома... Идут последние бои верстах в двадцати от города. Там умирают обреченные, чтобы своей смертью оттянуть вторжение врага в

город и дать время вывести и спасти эту толпу обезумевших и несчастных людей...

А гудки паровозов, шныряющих по путям станции, то воют, то вскрикивают, точно от боли невидимых ударов, то зовут, то кричат непрерывно, распутывая «узлы» и «пробки» на путях спасения. Тяжело громоухая и уха, словно от усталости, взад и вперед шныряют паровозы, испуганно посматривая огненными глазами во все стороны и выбрасывая из трубного зева тяжелые вздошные клубы дыма и жара, окрашенные в зловещий багрянец. Как стеклянная посуда, перезванивают вагоны буферами и железом и медленно проползают змеи поездов, набитых и облепленных людьми вплоть до крыш вагонов. Люди, как мухи на сахаре. Когда вагоны попадают в полосу света от ручного фонаря или скользящего мимо паровозного глаза, в их окнах, как призраки, рождаются на мгновение и исчезают во тьме бледные испуганные лица с застывшим в глазах ужасом...

Глава десятая

На рассвете, когда измученные люди погрузились в дремотное безволие, поезд сильно рванулся. Что случилось? Моментально проснулся задремавший было ужас в душах, и все широко раскрыли глаза.

– Господа, мы тронулись!

Да, да, поезд медленно пополз. В этом больше нельзя было сомневаться: это видели своими глазами все, имеющие возможность смотреть в окна вагонов... Но потерявшие надежду сомневались:

– Это не мы – это соседний поезд.

– Что вы, ослепли?

– Разве вы не чувствуете, что поезд движется?... Да. Теперь всем уже ясно, что поехали. В вагоне необузданная радость, смех, поздравления. Одни молятся, другие смеются. А кто-то в уголке плачет...

На заре, в чуткой тишине занимающегося утра, так отчетливо слышны далекие раскаты оружейного огня, но теперь он уже никого не пугает, а лишь привлекает острое любопытство. В углу начинаются споры о том, «наши» или «не наши» стреляют и как далеко?... Эти споры раздражают тихую измученную публику. Не все ли равно, кто стреляет и как далеко? Разве недостаточно того, что они двинулись и с каждым вздохом паровоза удаляются от смерти? Это сознание

все увеличивающейся безопасности наполняет душу безотчетной радостью и благодарностью, но радость еще пуглива и недоверчива; тихим и измученным кажется опасным даже самый спор в такую исключительную минуту жизни, точно от этого спора может вдруг остановиться поезд. А поезд ползет медленно, словно выбирает дорогу, и все еще не решил окончательно: бежать или оставаться? На разъезде в пяти верстах от станции он остановился и долго стоял в раздумье. И снова подкралась тревога, сомнение и ужас. Почему стоим? Что случилось? Что там за окнами кричат? И где это так близко стреляют? Уж не перерезали ли путь спасения? Все рвутся к окнам. Предусмотрительные герои вынимают и осматривают револьверы. Это еще более пугает нервных женщин. В вагоне – смятение...

– Успокойтесь! Ничего опасного нет...

– Почему же там стреляют?

– Ну, вот и поехали...

И снова крестятся, шепчут молитвы и начинают радостно смеяться.

Звон разбитого пулей стекла обрывает смех и разговоры.

– На пол! Ложитесь, ложитесь... – кричит кто-то.

Люди падают, стремясь подлезть друг под друга. Они напоминают кучи свернувшихся в клубок червей... Тяжелое дыхание, стоны и шепот, детский плач... и так проходит несколько минут. А потом опять шум, крики и ссоры из-за мест, смех и плач, крестное знамение и пошлые шутки за-

поздалой храбрости.

Почему стояли?

Оттуда, с площадки вагона, было все видно. Очевидцы рассказывали: на разъезде скопилось много раненых и больных. Отчаявшись попасть в поезд на городской станции, они пешком пришли, помогая друг другу, сюда, на разъезд, и здесь пытались сесть в поезд. Но разве можно было это допустить? Во-первых, и так уже сидят друг на друге, а во-вторых, среди них больше половины тифозных. Они принесли многих на носилках... Пытались приступом брать вагоны, и вот... в конце концов стрельба и, кажется, есть раненые с обеих сторон. Человек десять, говорят, все-таки успели силой влезть в вагоны.

О, если бы вы могли видеть эту картину нападения больных и раненых воинов на поезд со «счастливыми»! Все это были разбежавшиеся из брошенных на произвол судьбы лазаретов бывшие студенты, взявшие винтовку во имя прав человека и борьбы с насилием над человеческой личностью, все это были защитники вот этих самых благополучно уезжавших от смерти людей, отбившихся теперь от своих защитников револьверными пулями. Многие из них уже были не в силах ходить и, ползая около вагонов остановленного поезда, простирали руки с мольбой к окнам их, плакали, как дети, и все надеялись до последней минуты на человеческую благодарность, справедливость и сострадание... Напрасно: не пожалели... И вот угрозы и проклятия, схватки

в дверях и на площадках, выстрелы... Пуля как награда и благодарность своим защитникам! О, если бы можно было заглянуть в этот момент в человеческие души, в души вот этих ползающих и молящих о спасении и в души тех, которые отвечали на мольбы выстрелами! У одних подлая боязнь за свое драгоценное здоровье и за захваченный клочок пространства, у других чувство оскорбления их жертвенного подвига, а потом кипучий гнев и бессильная злоба... Они оттолкнуты и выброшены, как использованный и ненужный уже балласт. О, подлость человеческая! Есть ли тебе границы?..

Что это за крик и ругань? Это поручик Борис Паромов схватился один на один с окружавшими его счастливыми эгоистами, ободрявшими оттолкнувшуюся погибающих защитников «охрану поезда»...

– Бывают моменты, когда ничего безнравственного в таком поступке нет... Я – моряк, и вот... наша совесть и обычай, наша традиция разрешают капитану судна не приближаться к гибнущему кораблю, если это грозит нам самим гибелью... Во время пожара, например. Здесь совершенно аналогичный случай: прием тифозных был бы опасностью для многих из пассажиров...

– Я не хочу знать ваших глупых морских обычаев. Это не оправдание. Люди шли за вас на смерть, а когда пришла ваша очередь отплатить им только одной справедливостью, то вы из подлой трусости заболеть, только из одной трусости...

– Наша традиция основана на требованиях здравого смысла. Неуместный сентиментализм в такие моменты только вреден...

– Совершенно верно.

– Конечно. Мы бежали вовсе не для того, чтобы умереть от тифа.

– Здесь дети и старики...

– А тогда зачем вы кричите о том, что ваши враги попирают моральные и религиозные ценности, что они жестоки и несправедливы, что они...

– Разве наши враги – не ваши враги? Кто вы такой? Как сюда попали?

– Сбросить этого субъекта с поезда...

Только сейчас очнулась Аделаида Николаевна: до ее сознания дошел громкий голос Бориса и пробудил ее от продолжительного летаргического состояния. Муки и ужасы последних дней, особенно последняя ночь на вокзале, так измотали ее душу и тело, что каким-то чудом попавшая вместе с Борисом в вагон она заснула, как убитая, в самой неудобной полусидячей позе, придавленная со всех сторон вещами и людьми. Она не слышала, как на рассвете двинулся поезд, как он стоял на разъезде и отбивался от погибающих, и только теперь очнулась от крика и шума, в котором звенел, как металл, голос Бориса, так напоминавший голос любимого ею человека, брата Бориса, Владимира.

Вздрогнуло сердце. Точно кто-то толкнул его невидимой

рукой и тайно и неслышно позвал:

– Лада!

На одно мгновение легкой грустной улыбкой скользнуло по губам Аделаиды Николаевны близкое и далекое уже воспоминание о радостном солнечном счастье и сейчас же померкло от вернувшегося сознания действительности. И все сразу вспомнила молодая женщинами все сразу поняла: они бегут!.. Но почему так исступленно кричит Борис? Она прислушалась и поняла только одно: несколько людей в штатских и военных костюмах со свирепыми лицами грозят схватить Бориса и выволочь его за двери вагона.

– Что вы делаете, как вы смеее? – закричала она, вскочив на груды вещей и потрясая простертой рукою. – Этот человек проливал за вас кровь...

– Много теперь... таких.

– Нет, немного! Они почти все погибли в геройских боях, а вы... вы кто такие и кто вам дал право насильничать и издеваться над... вашими героями?

– А вы кто такая и какое право... – отозвался женский голос среди смущенно стушевавшихся мужчин.

– Я? Кто такая я? Я жена корниловца, который сейчас остался там, на фронте, умереть, чтобы дать вам возможность убежать из города. Поняли? Вы как звери, глупые и подлые...

– Это уже, мадам, слишком...

– Оставьте их, Аделаида Николаевна. Им дорога только

своя шкура!

Часть пассажиров, особенно женщин, все время оставались на стороне Бориса, но пока не выступила на защиту Аделаида Николаевна, молчала. Теперь они присоединились к смелой женщине, разогнавшей толпу озверевших людей. Нападавшие уже примолкли, но теперь не желала молчать другая сторона.

– Главное, кто бы лез, а то... буржуи какие-нибудь... Стоило их спасти!

– Их-то вот действительно надо бы выкинуть...

– Кого надо брать, тех бросают, а берут вот этих...

Все соседи оказались на их стороне. Защитные голоса раздавались и с верхних, и с нижних лавок... Борис протискался к своему месту и сел на вещах, рядом с невесткой. Вагон примолк. Точно всем вдруг сделалось стыдно... Соседи стали молчаливо ухаживать за Борисом и его спутницей, и этот переход от звериного к человеческому так подействовал на душу молодой женщины, что она растрогалась и не выдержала: уткнулась лицом в подушки и расплакалась... Борис, ласково и легко касаясь рукой мягких шелковистых волос на уроненной на руку красивой голове, успокаивал взволнованную женскую душу и, склонившись, шептал:

– Аделаида Николаевна! Голубка, милая... не надо, не надо... Слышите, Лада?

«Лада». Это так странно. Борис никогда не называл еще ее Ладой. Так зовет ее только муж, Владимир. «Лада». Странно

и смешно... И так схожи голоса братьев, что это произносимое шепотом слово «Лада» не обижает своей неожиданной интимностью, а приятно так, словно ветерок в летний горячий день, ласкает душу близкими воспоминаниями.

Пусть Борис гладит по голове и называет «Ладой»: ей грешится, что это говорит и ласкает Володя. Так сладок этот самообман, что хочется ответить, и чудится, что стоит только поднять глаза – и увидишь Володю. И потому, глотая слезы, Лада шепчет в подушки: «Володя, мой прекрасный, мой родной Володя!»...

– Что случилось?

Опять крик, ссора, столкновение... Отлетели пугливые грёзы. Лада тревожно подняла голову. На ресницах еще дрожат слезинки. Встретилась глазами с Борисом: такой странный, тяжелый, неподвижный взгляд. Даже неловко.

– Что там, Борис?

– Мы вовсе не желаем ехать с покойниками.

– На первой же станции надо заявить и снять...

– А вагон дезинфицировать!

Пассажиры тискаются в дверях, ведущих в среднее отделение вагона, откуда вместе с негодующими голосами доносится плач детей и призывы: «Мама! Мамочка!»

– Куда же вы, господа, лезете? Здесь и так перегружено, – дышать нечем и повернуться нельзя, а главное: вас тоже надо снять и подвергнуть дезинфекции.

– Какая там дезинфекция, когда вши сыпятся со всех сто-

рон...

– Что случилось?

– Мертвая женщина...

– Как же пропустили больную?

– А кто может поручиться, что и вы сами не заражены?

– Надо заявить и потребовать врача для осмотра пассажиров.

Опять ропот и негодование, шум и крики, которые покрывает жалобный мужской голос:

– Я не могу бросить тело жены без погребения.

Разрешите довести до первого города... Пожалейте!

У меня четверо детей...

В дверях выросла фигура немолодого священника с тоской и страданием на лице.

– Если вы выбросите меня с детьми на маленькой станции, мы погибнем. А я не могу, как священник и христианин, бросить тело жены без гроба, без отпевания. Человек – не собака...

– Мама! Мамочка! – зывали детские голоса из соседнего отделения, и вдруг священник припал руками к косяку двери и стал рыдать, как обиженный мальчик...

– Дети! Дети! Что ж нам теперь делать? Что? О, Господи!..

– Случай исключительный, и греха тут нет, батюшка. Я моряк, и вот... когда случается покойник на судне, то его разрешается с молитвою спустить в море. Мы теперь подобны плавающим, и потому...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.